

ЖАН ЛОМБАР

ВИЗАНТИЯ



КОЛЛЕКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНОВ

Жан Ломбар
Византия (сборник)
Серия «Коллекция
исторических романов (Вече)»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29608549

Византия: Вече; Москва; 2010

ISBN 978-5-4444-8806-5

Аннотация

Эта книга – история двух императоров, чьи помыслы и поступки подготовили крушение основ величайших мировых держав.

Роман «Агония» посвящен жизни Рима во время правления безумного императора Элагабала. Ненасытный в своих удовольствиях, опьяненный властью, он поклонялся страшному сирийскому богу Черного Камня, кормил лошадей виноградом, а людей отправлял на съедение львам. Роскошью, мотовством и вседозволенностью этот правитель вызывал лишь лютую ненависть у всех своих соотечественников и потомков.

Роман «Византия» рассказывает о борьбе за власть в Восточной Римской империи ее правителя Базилевса Константина V, талантливого и храброго полководца, правящего очень жестко и своенравно. У него есть сторонники, но есть

и противники. В трагическую борьбу оказываются втянутыми последние потомки истинных христианских Базилевсов. Они еще очень молоды, но уже готовы принять участие в перевороте, который свергнет кровавого императора-иконоборца с престола Византии.

Содержание

Агония	7
Книга I	7
I	7
II	16
III	26
IV	36
V	49
VI	57
VII	63
VIII	69
IX	73
X	86
XI	93
XII	98
XIII	103
XIV	113
XV	126
XVI	133
XVII	141
XVIII	151
XIX	155
XX	160
XXI	162

XXII	168
XXVII	175
Книга II	185
I	185
II	193
III	204
IV	212
V	220
VI	228
VII	232
VIII	241
Конец ознакомительного фрагмента.	249

Жан Ломбар

Византия (сборник)

Печатается по изданию: Ж. Ломбар. Античная библиотека, том I, II. – М., книгоиздательство «Сфинкс», 1912

© ООО «Издательство «Вече», 2010

* * *

Агония

Теодору Жану

Тому, кто с некоторыми другими, несмотря на неприязнь и неблагодарность, остался другом прежних дней.

Жан Ломбар

«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится».

(Апокалипсис, XVII, 8)

Книга I

I

Корабль равномерными ударами весел бороздил сапфировое пенящееся море, и красный парус едва округлялся в царящей вокруг тишине, ее не нарушал никакой звук: ни призывы экипажа, ни песня гребцов на рядах скамеек под мерный такт жезла гортатора; а путешественники, облоко-

таясь о борта судна, мечтали безмолвно.

То были: римлянин, два грека, кипрский купец, александриец, несколько итальянцев, возвращающихся из восточных портов. Хотя и утомленные долгим путешествием, остановками по берегам, ночами, протекшими под указаниями звезд, они привыкли любить это море, с которым теперь предстояло им расстаться с сожалением. И поэтому перед их глазами еще виднелись города на утесах и берегах, храмы, моря, пересеченные островами, сожженными солнцем и истерзанными бурями, – краски всех оттенков, от серебристо-белого до огненно-красного вперемиш с синим и зеленым.

Под взглядом прореты, который на носу корабля следил за горизонтом, одни матросы налегли на реи, другие натягивали парус, и корабль запрыгал по волнам к еще невидимому берегу, с прямо стоящими римскими знаменами, которые капитан-магистр приказал укрепить на палубе.

Море, бледное, зеленое, темно-синее, было испещрено стаями длиннокрылых птиц. Небо, совсем белое на горизонте и лазурное в зените, испещренное медленно плывущими облаками, раскинулось беспредельной пустотой, и морская гладь дышала печально торжественной тишиной, спокойной грустью, почти чарующей.

Коснувшись песчаного дна, корабль, высоко подняв носовую часть, остановился на миг. Тогда гортатор поднял жезл, и содрогнувшиеся на скамьях гребцы возобновили свою пес-

ню в ритме, более резком, более неровном. И весла равномерно стали подниматься и опускаться, унося корабль на вздымающейся пене меловой белизны и под резкими движениями руля в руке кормчего-губернатора – в красной войлочной шапке на голове.

Теперь путешественники беседовали медленно под очарованием путешествия и в предчувствии близости берега, возвещаемого уже совсем иной качкой, чем было в открытом море. Магистр, сидя на своем троне, подавал знаки матросам; невольники, появляясь из квадратных люков, выбрасывали на палубу товары, тюки тканей и кож, сундуки, украшенные медью и слоновой костью, круглые ящики с книгами в свитках, сильно пахнущие благовония.

С открытой головой и шеей, в шелковистой лацерне поверх короткой туники и узкой субукулы с рукавами, Атилий, стоя, смотрел на приближающуюся землю. На его пальцах были кольца с рубинами и сапфирами, сандалии из красной кожи у ступни украшались серебряными солнцами; тонкая рыжевато-белокурая борода волнисто окаймляла лицо, озаренное зеркальным светом его глаз, черно-фиолетовых, красивого разреза; и их блеск противоречил общему выражению лица – ни изнеженный, ни мужественный, скорее инертный.

Мадех направился к нему. Он был в азиатской желтой волоочащейся одежде, с широкими рукавами с черными полосами, в митре на завитых кудрях, на ногах коричневые сан-

дали с ремнями, идущими от подошвы и обвивающими лодыжки ног, в ушах золотые кольца, а на груди, покрытой холстом с красными и желтыми полосами, амулет, — черный камень в виде конуса.

Берег, покрытый тенью деревьев, восстал в розоватом свете; целый город выступал из горла скал, с храмами, арками, желтыми домами, массой зелени, лесами пиний, взьерошенных вдали, а на подходе к нему — рейд, наполненный судами с цветными парусами, покоящими свою тень на округлой ростре. Другие суда шли под парусами. Горожане в туниках и в белых развевающихся тогах стремились к набережным; дети бежали к воде по берегу, на котором мелкие камни светились на мягком песке, а в мощном шуме голосов и окруженные движением пыли солдаты — целая манипула — звеня мечами и прямоугольными щитами о свои кирасы и железные поножи, выходили с форума.

Между доками голос гортатора, повеселевший, слышался вместе с песнью гребцов; на палубе, теперь совсем оживленной, отдавал приказания магистр; губернатор с кормы отвечал прорете, сидевшему на носу судна, а пассажиры готовились сойти на берег. Двое греков с роскошными черными бородами слушали рассказ кипрского купца, изображавшего жестами свою ссору с невольником, а александриец — короткий, толстый, в полосатой коричневой одежде с калаприкой, с опущенными крыльями на голове — отвел в сторону Мадеха, почтительно, осторожно, угадывая в нем жреца Солнца.

— И ты тоже, и ты идешь в Рим, как и я, как Арист и Никодем, эти греки! Твой господин кажется печальным, тогда как мы все рады увидеть город, омываемый Тибром, но не имеющий очарования Александрии. Знаешь ли ты Александрию? Если я иду в Рим, то для того, чтобы сравнить его с моим городом, куда я вернусь скоро, потому что Рим, не правда ли, место погибельное для людей, желающих остаться благоразумными, каким должен быть я, Амон.

И так как он продолжал говорить многоречиво и даже дернул его за широкий рукав, чтоб привлечь внимание, то Мадех покачал головой и отошел от него к Атиллию; тот по-прежнему, глядя перед собой, стоял неподвижно на палубе корабля, который вели теперь на буксире два небольших судна в порт Брундизиума, еще загроможденный камнями и сгнившими судами, которые некогда велел здесь затопить цезарь. Обрисовывалась близость города: рыбаки чинили свои сети на берегу, усеянном обломками досок; в глубине открытой маленькой бухты плотники строгают мачты и доски; на высоких кормах причаленных к берегу кораблей сушились одежды, рабы с лоснящимися торсами, с напряженными мускулами наполняли камнями промежутки между двумя стенами мола, терзаемого волнами, и глыбы, падая, звенели.

Атиллий и Мадех сели в барку с кормовой фигурой, придававшей ей сходство с гигантской лирой, и понеслись среди скопления кораблей. Тут были и триремы с короткими

мачтами, годные для войны, с рядами ритмично движущихся весел; катафракты с палубой и афракты без палубы; только-только пришедшие купеческие суда или готовящиеся отплыть; актуарии, служившие для быстрых переходов или для открытий; фазелы, которые приходят из Кампании и имеют форму веретена; кашеры и келоксы, совсем круглые гаулы, курбиты в форме корзин, гиппагоги для перевозки лошадей; наконец, неутомимые либурны, которые встречались всюду и победно поднимали свои паруса во всех портах Римской империи.

К лодкам путешественников стали примыкать другие лодки: продавцы тканей и фруктов, кричащие о своих товарах, посланцы от гостиниц, почти все греки, хозяйки проституток, с ужасно покрашенной старой кожей, приглашающие остановиться в лупанарах Брундизиума.

Атиллий оставался безмолвным. Но Мадеху, на миг ожившему, грезился его родной сирийский городок, откуда увлек его римский легион, покаравший восстание азиатов и разлучивший его с другом, незабвенный облик и имя которого исчезли от него, быть может, навсегда... Потом легион отдал его богатой семье Атиллиев; один из их предков был префектом Рима, и они, разделяя судьбу Мезы, бабки Элагабала, сделались совсем азиатами... Сестра Атиллия, которой он тоже прислуживал и маленькие жестокие руки которой часто причиняли ему боль, эта сестра была теперь при Сэмиас, матери юного и чарующего императора, уже посвящен-

ного Солнцу. Весь Эмесс видел его в длинной и сверкающей одежде жреца из пурпура златотканого, в тиаре и драгоценных геммах! Он, Элагабал, сын Сэмиас, поклонялся Солнцу, как символу жизни, все наполняющей, все одушевляющей и скрывшей свою силу в Черном Камне, силу мужского начала; и Мадех так же, как и многие другие, принес жертву богу, отдав себя Атиллию, потому что мужская любовь, в религиозном значении, была его посвящением сирийскому культу.

С нежностью Мадех смотрел на Атиллия, давшего ему свободу, и эти летучие воспоминания не вызвали в нем и тени сладострастного чувства. Он думал о том, что юный Элагабал шел в Рим после победы в Эмессе, вместе с Сэмиас и Мезой, со свитой жрецов и загадочными магами, с целой армией детей Востока и римских семей, присоединившихся к его делу, и что ему, Мадеху, предстоит необычная жизнь вместе с Атиллием, которого новый император послал к сенату известить о его восшествии на престол. Насколько отраднее было бы небо Эмесса и дворец его господина, выходящий на аллею кактусов, с садами на террасах из красной земли, наполненных цветами, громадными, как луны, лотосами, розами, лилиями! Ленивый телом, но гибкий умом, он был склонен к грезам, как все люди Востока. И потому деятельность Рима его пугала, и он инстинктивно предпочел бы жизнь там, с тихими наслаждениями и покоем, с жертвоприношениями Солнцу, сирийскому богу в образе Черного Камня, финикийскому богу Хел, критскому богу Алелиос,

гальскому – Белен, ассирийскому – Бел, греческому – Гелиос и римскому богу Соль, которого империя отныне будет чтить под именем Элагабала...

Город, к которому они подошли, своими узкими улицами и домами из красного и желтого кирпича напоминал сеть, испещренную квадратами форумов и садов, дворцов с колоннадами, арками, бронзовые барельефы которых сияли на ярком солнце, термами с портиками, храмами, двумя казармами с трофеями на красных и желтых пилястрах, гостиницами и лавками утвари, тканей и припасов, необычайно оживленными издали. Город кишел деловыми италийцами, – иные из них взвешивали в горсти руки образцы зерна; моряками, с песнями выходившими из термopol, харчевен, где они пили подогретые напитки; патрициями, направлявшимися в бани в сопровождении шумной свиты паразитов. Богатые матроны пряли, лежа в закрытых носилках, оконца из слюды которых ярко блестели; вольноотпущенники проталкивались среди рабов, перед которыми они были горды, и среди медленно гуляющих граждан, перед которыми они оставались смиренными; купцы громко разговаривали; среди белых тог и полосатых туник с бахромой или с пурпурной каймой жрецы своей длинной одеждой, фиолетовой, желтой или красной подметали тротуары, вышиною в фут; мерно покачивали своими грудями проститутки с набеленной шеей, ярко накрашенными губами и бровями, соединенными в одну линию антимонием; и дети, голые от бедер до ступни, в

одной только куртке, изодранной на плечах, на груди и на животе, бегали и подставляли ножку иностранцам в деревянных, очень высоких сандалиях, обращавших на себя внимание колыханием их открытых округленных частей тела.

Атиллий и Мадех прошли через перекресток, вымощенный острыми камнями и покрытый корками лимонов и дынь, мясистыми ломтями тыкв рядом с валявшимися тут же алыми стручками перца. Вокруг открыты были лавки, украшенные мозаиками и фресками, с именами владельцев, выписанными большими красными буквами над сводом двери. Из булочной шел дым от горячего очага; два осла вертели жернова, и движение их кругов проходило перед глазами, чередуясь с печальными фигурами животных, их прямыми ушами над глупыми мордами. В красильной работники мяли ногами ткани в чане и чесали сукно для плащей, а хозяин нагружал на человека, мокрого от пота, корзину, из которой текла краска. В стороне, в полусвете мастерской, выступали формы нагих тел, расположенные на полках и привязанные веревками к стене, – ваятель размещал идолов, маски из обожженной глины и бюсты с застывшей судорогой на лице. На углу перекрестка учитель школы, бедно одетый в шерстяную тунику с заплатами, писал мелом на короткой аспидной доске, посреди кучки учеников, запинавшихся в варварской латыни. В это время подошла женщина с хнычущим ребенком; она поручила его педагогу, почтенный взор которого остановился на миг на ученике, и бросила ему несколько мелких

монет, тотчас же опущенных им в пояс туники, вздувшейся в этом месте над худобой его живота, по-видимому, пустого.

II

Именитый гражданин Брундизиума ожидал Мадеха и Атиллия к себе в дом, обширный, греческого стиля, стоящий близ стен и на некотором возвышении над городом; туда они взошли по ступеням лестницы, охраняемой двумя грубыми каменными львами с гривами в завитках, как у вавилонских львов. Волоча за собой цепь, приковывавшую его к его жилищу, выходящему в сени, привратник позвал номенклатора, а тот доложил Туберо. Почтенный гражданин крепко поцеловал губы и руки Атиллия и извинился, что принимает его в домашней одежде для отдыха: в свободной и длинной тунике и в плоских сандалиях. Время было уже за полдень, и гнетущая, как свинец, жара царила, погружая дом в тяжелую сонливость.

– Ты не уедешь завтра в Рим, – сказал Туберо, провожая через немые комнаты дома Атиллия и Мадеха к баням в глубине сада, наполненного зелеными и рыжими растениями, деревцами и густыми кущами, пересеченными солнечными тропинками; оттуда послышался крик. Подвешенный к ветви дерева с привязанным к ногам железным грузом невольник подвергался бичеванию веревками с острыми крючками на концах. Спина его покрылась пятнами, точно мрамор;

бедра покраснели от крови, которая струилась по земле; он закрыл глаза и перестал кричать, потому что первый крик стоил ему слишком многих ударов; он кусал себе нижнюю губу, страшный, со слюной во рту; а рабы, сидя вокруг на корточках, дико смеялись.

Но Туберо увлекал дальше своих гостей, показывая им свои владения с самодовольством выскочки; и не вполне очнувшись от своей сиесты, отирал пот на лбу краем своей ярко-красной длинной одежды, едва касавшейся жирных складок кожи на ногах, волочивших желтые сандалии по песку аллей.

В саду, с розовыми лаврами и рожковыми деревьями, были тенистые уголки, осененные листвой, сочившейся в летней жаре; неподвижные массы буксов и розмаринов, подстриженных в виде урн, пирамид, больших латинских букв, египетских домиков и канделябр чередовались вдоль дорожек, пересеченных ручейками в низких берегах. Было там необычайное множество мраморных и бронзовых статуй, почти соприкасающихся локтями в сравнительно узком пространстве: гладиаторы, ораторы в тогах, увенчанный лаврами император, полногрудая Венера; затем бюсты на подставках; несколько киосков возле бьющих фонтанов, изливавшихся терракотовыми утками, застывшими в вазах; наконец, трельяжи и беседки из разметавшейся зелени, с каменными скамьями, под солнцем, сжигавшим густую траву газонов.

В просветах между деревьями и кустами виднелся ближ-

ний берег с городскими строениями – виллами с белыми и розовыми террасами, принадлежащими богатым гражданам, за ними прямые полосы дорог, по которым тянулись нагруженные повозки, запряженные быками, а дальше – клочки синего моря и на нем ростры одномачтовых судов с равномерным движением их коротких весел снизу вверх и сверху вниз.

Рабы раздели Атиллия и Мадеха в кальдарии и облили их водой, выделявшей голубоватый щелочной осадок, который омыл неясные очертания мозаики пола. Фригадарий привлекал их к себе своим бассейном, и они погрузились в него. В лепидарии их натерли скребками и горячими полотенцами после того, как умастили маслами и мазями, очистили ногти и вылили на их руки и ноги целые фиалы благовоний, а волосы натерли сирийской эссенцией. Затем на них надели синтесис, мягкие белые туники без рукавов, предназначавшиеся для иностранцев.

Именитый хозяин, расставшийся с ними на время их купания, вернулся вместе с двумя гражданами Брундизиума, и номенклатор поспешил возвестить:

– Эльва и Мамер желают приветствовать чужестранцев, твоих гостей.

Он обращался к Туберо, который посмотрел на Атиллия и равнодушно сказал:

– Это мои клиенты; я приказал их позвать к ужину, которому скоро наступит время.

Эльва был очень высок, с костистым лицом, остриженной коротко головой, отвисшей нижней губой и маленькими глазами под веками в складках, как у жабы. Мамер толстый, бородатый, с животной ленивой тучностью, с покачивающейся головой и массивными плечами, походил на слюнявого гипопотама.

Они медленно последовали за Туберо и его гостями в атрий, где их ожидала жена хозяина со своими невольницами – гречанками и африканками. Атрий был вымощен красным мрамором, его бассейн, устроенный под квадратным отверстием потолка, освещался солнечным лучом, который скользил внизу по зеленому гранитному плинтусу стены, разделенной пилястрами. Шерстяные занавеси с изображением химер, варварской окраски, затканые фиолетовыми полосами, закрывали входы в соседние комнаты – кубикулы, обрамленные стенными фресками: ландшафтами, морскими видами, танцовщицами, порхавшими среди колонн, и амурами, державшими за узду коней, уносящихся вдаль.

Жена именитого хозяина, Юлия, встала, и ее тень заколыхалась на колеблющейся воде бассейна; на поверхность всплыли две миноги, глаза которых, полные как бы жажды человеческого тела, остановились на Мадехе и на его амулете, блестевшем на солнце. Потом, поклонившись, она со своими женщинами ушла в шелесте широких одежд и звенящих украшений.

Брундизийцы – и Туберо с ними – очень громко стали го-

ворить о событиях, волновавших империю, о смерти Макрина и его сына, Диадумена Увенчанного, прозванного так по сплетению жил на его лбу в виде короны; и об Антонине Авите, сыне Сэмиас и, может быть, незаконном сыне Каракаллы, названном Элагабалом, потому что он был жрецом Солнца. Один из граждан растерянно качал головой:

– Боги Италии исчезнут ради Черного Камня, которому поклоняется Антонин; он и нас заставит поклоняться этому богу в своем лице.

И с важностью они ожидали, что скажет Атиллий, приехавший с Востока, посланец Элагабала. Атиллий, не колеблясь, стал защищать Черный Камень, означавший жизнь и ее начало. Что такое жизнь? Она исходит от Солнца, все оплодотворяющего, поднимающего рост семян и распространяющего их через атмосферу, изображаемого в своей силе органом размножения, фаллосом; и иначе быть не может. Могут ли сравняться с ним другие боги, греческие, римские, египетские и персидские: Митра или Хронос, Сирапис или Агура-Мазда, Мирионима Изида и Зевс роганосящий? Не потому, чтоб он отвергал этих богов, но как они ничтожны перед Черным Камнем, Черным Конусом в форме мужского органа, изображающим всецело жизнь! Ныне империя нашла определенную форму символа единой жизни и завоевала себе высшее божество в образе Черного Камня Эмесса, и почему не покинуть переходные формы других богов, менее ясно выражавших эту идею?

Все, что он говорил, казалось брундизийцам так темно, что они покачивали головами, угадывая богохульство, но не улавливая, в чем оно выражалось.

– Что такое единая жизнь? – продолжал Атиллий. – В самом начале жизнь единополая совершала зачатие и рождала сама собой; мир был бессилён испытать счастье со времени разделения полов; поэтому совершенство состояло в слиянии рождающих сил в единство. В этом истинное значение символа Черного Камня, и поклонение ему Антонин Элагабал, пятнадцатилетний император, хочет установить в Риме, куда он стремится под солнцем дней и звездами ночей!

В ответ на его утверждение один из двух граждан, кривой, глядя на него единственным глазом, почти круглым, качая склоненной головой, сказал:

– Ах, чувствую я, убьет нас всех этот император со своим Востоком и со своим богом, который есть только камень; со своим культом, который хочет нас возвратить в единство. Но это его единство, оно также и твое, – нет, никогда Рим не примет его добровольно! Он убьет Рим, твой император! Он убьет нас всех своим культом, который отнимет жизнь ради поклонения жизни!

В словах Аспренаса, этого брундизийца, была такая отчаянная ненависть к Востоку и противоестественным извращениям, которые виделись в единстве Черного Камня сквозь таинственные слова Атиллия, что другой гражданин, человек благоразумно умеренный, заговорил, придерживая на

животе ровные складки тоги:

– Ты думаешь, Рим примет восшествие Антонина и допустит к себе его толпы людей Востока, желающих подчинить себе Запад? Конечно, нет!

– Рим примет всё, – ответил Атиллий. – Восток станет выше Запада, Черный Камень победит всё, и от его победы родится андрогин!..

Он произнес это мечтательно, едва отрешаясь от своих отвлеченностей, опустив одну руку, а другой держа складку своего синтесиса и бросив на молчавшего Мадеха глубокий, но быстрый взгляд, странно нежный.

Уже темнота наступила в доме Туберо; он обернулся, презрительно, к Эльве и Мамеру, замыкавшим собой группу гостей:

– Послушай, Эльва, ты, умеющий пить горячую воду, как вино, и ты, Мамер, прыгающий подобно слону, двигайтесь к триклинию. Кто из вас съест и выпьет больше?

Мамер подпрыгнул на одной ноге, держась за другую своей жирной рукой, быстро повернулся и побежал с каким-то кудахтаньем к столовой, а Эльва, следуя за ним, улыбался своим гнусным лицом.

Невольники ставили на стол металлическую посуду с выпуклыми украшениями, с львиными пастями на ножках, зиющими посреди триклиния; сложенное из камня ложе в виде подковы, примыкавшее к столу, было покрыто пышными подушками. Другие рабы осветили залу четырьмя канделяб-

рами с несколькими лампами, укрепленными вершиной своей оси на треножнике, и бронзовой люстрой, подвешенной к потолку.

Юлия возлегла на ложе; легкая цикла из тонкой ткани, широкая и длинная, едва скрывала ее тело; грудь была открыта; волосы причесаны в форме груши, на шее бирюза, золотой браслет без цепочки на левой руке. Ей едва было тридцать лет; крепко сложенная брюнетка с подрисованными ресницами и накрашенными губами, придававшими ее лицу наглый вид. Туберо развалился справа от нее, Атиллий и рядом с ним Мадер – слева, Потит и Аспренас на другом конце триклиниума; Эльва и Мамер – на скамьях.

Облокотясь левой рукой на подушки, свободную руку они протягивали к столу, на который рабы поставили серебряное круглое блюдо. Вино было подано в амфоре с двумя ручками; его пили из высоких чаш на ножках или из хрустальных диатрет, с узором по кругу из драгоценных камней: редкость в Брундизиуме. Чтоб лучше высказать свою важность и пренебрежение, Туберо велел подать Мамеру большую чашу горячей воды, которую тот выпил залпом с большим удовольствием.

Они ели устриц, печеные яйца, оливки, бобы, грибы, колбасы и рыбу, подававшуюся на различных блюдах, а паразиты, получавшие подачку, смотрели глазами, в которых хотели выразить восхищение.

Среди ужина Юлия переложила ногу, обнажив ступню,

обутую в белую сандалию с загнутым носком, и при этом движении сквозь разрез ее циклы была видна верхняя часть бедра, оттененного розоватым очертанием тела.

Рабы принесли на длинном агатовом блюде жареного павлина, и Туберо воскликнул:

– Рим мог бы мне в этом позавидовать! Ни у кого не найдется ничего подобного!

Держа нож с ручкой из слоновой кости, приплясывая и изгибая стан, медленно приближался структор; придерживая одной рукой свой шерстяной амикт, он, покачиваясь, другой рукой резал птицу и быстро подвигал куски на край блюда; Аспренас и Потит скромно рукоплескали его искусству.

Пили разное вино: кекубское, фалернское, каленское, фармийское, наливая его в кратеры. По временам Туберо, под видом воздаяния богам, проливал несколько капель на стол, который тотчас же оттирали губкой.

Послышались звуки кротал и кимвалов, щипки струн египетских тамбурахов и греческих лир, трепетание цистр и воркование флейт. И появились женщины в развевающихся одеждах – они стали ожидать знака. Это было во время третьей части ужина, когда подавались плоды, печенья и иноземные вина; их пили из чаш с двумя ручками, опущенных в большие бронзовые кратеры с эмалью. Для лучшего пищеварения ужинавшие повернулись друг к другу спиной, вытянув ноги: Туберо громко рыгал, Аспренас и Потит тупо смотрели, Юлия все больше открывала верхнюю часть бедра,

бросая взгляды на Атиллия, тихо разговаривавшего с Мадехом. Паразиты поедали кушанья, оставленные всеми, и в зале струился дым от ламп, начинавших чадить.

После медленной прелюдии женщины обошли вокруг триклиния, изворачиваясь бедрами, вытягивая ноги, как будто становясь от этого более высокими. Потом одни из них продолжили играть, причем все ту же мелодию, а другие начали танцевать, сближаясь и развевая тонкие одежды, поднимая их до головы, открываясь от шеи до бедер. И, полуобнаженные, они кружились в сладострастном вихре под звуки кротал и кимвал, под крики флейт, смех цистр, звон тамбурахов и лир. Затем они удалились неровными шагами, сопровождаемые финальными звуками, среди которых флейта выражала остроту жгучего наслаждения; а за ними последовали Эльва и Мамер, которых выгнал толчками ноги Туберо, точно опьяневший, и они побежали через темные коридоры и атрий в сени, при громком смехе Юлии и тупом самодовольстве Потита и Аспренаса; последний смотрел на эту сцену своим единственным круглым глазом, печальным и тревожным.

Туберо велел поставить для Мадеха и Атиллия бронзовое ложе в одной из комнат, которую он им показал, отодвинув край занавески. А затем он пошел вслед за Юлией, которую окружили женщины с ее ночными одеждами в руках. Аспренас и Потит направились домой в сопровождении рабов с фонарями. Дом погрузился в ночное спокойствие, едва на-

рушавшееся звуками лиры, которую одна из музыкантш настраивала в глубине кубикул, стенаниями подвергнутого бичеванию раба, доносившимися извне, стуком ключей, запиравших тяжелые двери в глубоких нишах.

III

Душное утро при восхитительно ясном небе поднималось над Брундизиумом, окутывая его волнующимся туманом, который едва рассеивался под лучами восходящего солнца. У дверей дома Туберо ожидал цизий, двухместная повозка на двух колесах, запряженная мулами, которые помчали Атиллия и Мадеха на окраину города, а затем на Аппиеву дорогу, ведущую сюда из Рима. На туманящихся полях шумно двигались быки, запряженные в громоздкие плуги, и раздавались крики рабов, которые выглядывали из-за кустов, чтобы посмотреть на проезжающих. Изредка погонщик, апулиец, спрыгивал с мула и бежал рядом с колесами, осыпая своих животных ударами бича, и его ярко-красная одежда резко отличалась от темной шерсти животных.

В таверне у дороги, где они остановились в полдень, люди ели, сидя на скамейках; солдат вертел в руках каску, а в углу бродячий цирюльник брил путешественника, который быстро подносил руку к подбородку, наверное, порезанному бритвой. Все обернулись, чтобы лучше разглядеть Атиллия, но в особенности Мадеха; его митра, развевающаяся одежда

в цветных полосах с широкими рукавами, и конусообразный амулет вызвали перешептывание многих, и их губы открывали ряды гнилых зубов.

Оба грека и александриец, с которыми они расстались накануне, ели вместе за низким столом; черные бороды двух первых были против круглого лица александрийца, слушавшего их с восторгом. Угадав простака в наивном, хотя и осторожном Амоне, греки с красноречием, свойственным их нации, издеваясь над ним, осыпали его рассказами, тут же ими придуманными. И бороды их самодовольно чернели, когда они уверяли:

– В Риме есть женщины с шелковыми и золотыми волосами, растущими естественно благодаря одному божественному камню, который они глотают во время своих месячных. Их стригут, но они продолжают расти. Срезанные волосы сажают в порошок из золота и оникса. И тогда рождается цветок, который и есть божественный камень. Таким образом все связано между собой. Так хочет великий Зевс! – Аристэс хитро мигнул Никодему, который, в свою очередь, изощрялся:

– Что ты рассказываешь! А вот я видел, – обычное дело! – как Тибр породил в полнолуние слонов, зеленых, как тисовое дерево!

Ни тот, ни другой не были в Риме.

После легкой еды Атиллий и Мадех уехали вместе с Амоном и обоими греками; Амон в двухколесном карпенте, на-

груженном огромным деревянным сундуком, а двое других в бастерне, повозке в виде носилок, запряженной мулами со звонкой упряжью. Они проехали несколько белых городов с низкими домами, с виноградниками на крышах; потом несколько поместий, где обнаженные до пояса рабы со скованными цепью ногами рыли каналы или били деревья жердями, отрясая фрукты. Послышалось пение. Это шли быстрым шагом солдаты с дротиками, пиками и щитами; впереди на лошади центурион. Толпы бедных людей: корзинщиков, сапожников, кузнецов, целые семьи эфиопских плясунов и укротителей змей везли на повозках с кожаным верхом и колесами без спиц все свое имущество, своих жен и детей с татуировкой на лбу. Иногда матери шли пешком, согнувшись под тяжестью детей, которых несли на спине в мешках из грубой шерсти, и оттуда виднелись только смеющиеся лица и маленькие подвижные руки.

После Капуи начались равнины, пересеченные каналами, орошавшими земельные участки. Пастухи Кампании, едва прикрытые кожаной одеждой, пасли стада серых овец, тянулись пастбища с оградами из укропа, богатые фермы италиков со множеством слуг и животных. Изредка, с любопытством дикарей, приподымались кочевники, отдыхавшие на обочинах дороги, и пальцами указывали на путешественников.

Дорогу, мощенную плитами из лавы, бороздило множество повозок: цизии, бастерны, рэды, карпенты, эсседы, сар-

раки, закрытые и открытые носилки всякого рода. Чтобы укрыться от солнца, путешественники располагались под акведуками или на склонах рвов, покрытых опаленной зноем травой. Вся эта толпа приходила в шумное движение, когда из соседних лесов, оживленных храмами, появлялись жрецы доброй богини и плясали, точно белые и красные видения. День наполнялся звоном цистр и тамбураков, воплями священного беснования – потом эти звуки угасли, как бы растворяясь в тишине.

Ожидаемый вскоре приезд Антонина Элагабала вызывал общие разговоры, в особенности близ Рима. Люди Востока не скрывали своей радости. Их было много, они ехали из всех краев Африки и Азии, – из Мавритании, Ливии, Египта, Малой Азии, Персии, Вавилонии, Мидии, с разными пожитками на всевозможных повозках. Жители Запада: кельты, старые италики, иберы, лигуры, даки, любящие только идеальных богов, отвлеченные принципы и первозданную силу, с огорчением видели, что им противопоставляют богов сладострастия, смешивают оба пола и воздвигают не женщину-производительницу, с чем бы их углубленная в себя душа еще могла бы согласиться, но обожествление начала жизни под видом материализированного фаллоса. Эти заблуждения были им непонятны, так как в их глазах женщина есть существо отдающееся и таинственно чистое в акте зачатия, слишком священном и потому всегда сокровенном.

В часы временных остановок, объединявших всех пу-

тешественников, завязывались горячие споры. Оба грека, скептики и ироники, смеялись, а египтянин давал простор своему красноречию. Он открывал нежные стороны своей души; его круглое лицо расцветало при воспоминаниях о родной стране, об упорно живущих легендах, восстающих против пороков, которые можно предвидеть в учении о жизненном начале, об идиллической любви на берегу Нила, под взорами священного Ибиса, при звуках флейт и изогнутых тамбурахов, о любви к молодым египтянкам в легких одеждах, приходящим за водой с амфорой из красной глины.

Восставали не только против Черного Камня, бога Элагабала, кого так горячо защищал в Брундизиуме Атилий перед друзьями Туберо, но также и против Крейстоса, Бога христиан. Евреи, и между ними один высокий и высохший, как мумия, человек, по имени Иефуннэ, направлявшийся в Рим вместе с семьей, старался возложить на него ответственность за гибель его народа. Почему Крейстос допустил все народы к общению вместо того, чтобы призвать только их, добрых евреев? Если бы он это сделал, они бы не стали мучить его! Амон, беседовавший с Иефуннэ, качал головой, так как, напротив, космополитизм Крейстоса был ему по душе.

Этот Иефуннэ, отец многих детей, и между прочим, тонкой, бледной девушки с глазами серны, окаймленными черными кругами, этот Иефуннэ заставил египтянина разговариваться и узнал, зачем тот направляется в Рим. Еще цветущий в свои пятьдесят лет, Амон нажил состояние, торгуя египет-

ской чечевицей, и его горячей мечтой было посмотреть столицу мира, а затем, удовлетворив все свои желания и вернувшись в Александрию, жениться на молодой египтянке, которая любила бы его. И так как на его круглом бритом лице отражалась мечта о молодой супруге, которой лишила его трудовая юность, проведенная в закупке чечевицы и отправке ее на барках во все концы света, то дочь еврея Иефунна бросала на Амона долгие взгляды и даже раз, вечером, взяла его за руку, свесившуюся из повозки, в то время как Иефуннэ, казалось, не замечавший этого, рассматривал арку египтянина, деревянный ящик, быть может, заключавший бесчисленное множество золотых солидов, нажитых пятидесятилетним путешественником.

Атиллий и Мадех достигли Анксур: их взорам открылась сверкающая цепь белых скал над портом; толпа носильщиков, выгружавших глиняную посуду и металлы; множество быстроходных либурн и кораблей с рострами и без ростр, весельных или парусных; иностранцы, прибывшие с юга Италии, из Сардинии или Испании, чтоб присутствовать в Риме при въезде Элагабала. Об этом все говорили, и звуки голосов, варварские звуки, долетали до Атиллия, принявшего важный вид, и до Мадеха, который смотрел на него, склонив смуглое надушенное амброй тело и овальное лицо с короткими выющимися волосами, миндалевидными глазами и соединенными черной чертой бровями. Мысль Атиллия, прежде инертная, работала теперь под наплывом внезапного вдохно-

вения, вызванного оживлением на Аппиевой дороге, по которой стремился народ Римской империи. Безумный проект культа Черного Камня Элагабала, который увлек его величием своего замысла, уже рисовал перед ним очертания храмов Солнца, более высоких, чем храмы Зевса и Сераписа и стены Вавилона, и этот Черный Камень должен возвышаться непоколебимо, украшенный алмазами, изумрудами и топазами, при звуках флейт, азор, нэбэл, арф, среди плясок и пения. Ради него он, Атиллий, вступит в борьбу с богами всех концов Земли, и неустанным стремлением мужского пола к мужскому он упразднит женский пол или, вернее, двуполость человечества и поможет созданию в недрах творения андрогина, самодовлеющего существа, совмещающего в себе оба пола, и установит единство жизни там, где царила двойственность.

Но, подобно нежному растению, этот проект в своей сути был чем-то глубоко интимным, поэтому тревожил обычно спокойное состояние духа Атиллия, привыкшего там, дома, пребывать в сладком оцепенении и отдаваться грезам, близким к неземным. Он выработал в себе в Эмессе философию бессознательного, которая была связана со страстной жестокостью по отношению к Мадеху; в нем он думал найти воплощаемого андрогина. Глубокий эгоизм Атиллия поддерживал в нем душевное равновесие, которое теперь рисковало быть нарушенным в начинающейся по его внушению жестокой борьбе Элагабала против других верований. Он чув-

ствовал: в самом сердце Рима могуче разрастается упорное безумие религиозных пристрастий, и сам он, пропитанный этим ядом, будет не в силах вырваться из его плена. Во что тогда обратится нить глубоких страстных дней, протекших в тишине вместе с Мадехом, которого он сделал бесполом, почти до конца истощенным, но не ведающем о своей физической слабости.

Вечер объял дорогу, и близость ночи смущала чувства запоздалых путников. Дома Анксуара, оставшиеся позади за прямыми стенами, сливались в общую массу, как куски горной смолы; порт сверкал желтыми отблесками, в которых плясали лунные лучи. Все угасало, и в общем угасании едва различались крики погонщиков ослов, стук копыт мулов, фыркание быков, выходящих из Понтинских болот, и голоса путешественников, отыскивающих убежище в небольшом городе.

Утро коснулось неба, покрытого тяжелыми тучами; их разрывали красные лучи тусклого солнца. Аппиева дорога пересекала Понтинские болота; налево – зелень дюн, направо – голубая стена Апеннин Лациума. Воды сверкали среди зарослей тростников и асфodelей, в которых топтались быки; густая трава колыхалась под внезапными порывами ветра. Восходящее солнце бросало косые отблески на волнистую поверхность каналов; над хижинами угольщиков поднимались колонны дыма; храмы из тровертинского мрамора вырезались своими розовыми линиями на фоне холмов, на

их вершинах виднелись обнаженные торсы вольских пастухов; с недалекого моря доносились отрывистые звуки, сливавшиеся с криками возниц на дороге.

По мере приближения к Риму увеличивался наплыв путешественников. Лектики провинциалов; бастерны женщин, запряженные быками бесколесные траги, похожие на сани; бенны, гальские повозки с ивовым кузовом, иногда украшенные серебряными бляхами; телеги, запряженные парой, тройкой и четверкой лошадей; простые повозки, нагруженные кладью, везли людей Востока и Запада, римских граждан и нумидийских землевладельцев, семьи фигляров, евреев, чиновников, которых привлекал приезд Антонина Элагабала. Толпы невольников, взятых в каких-то неведомых войнах, шли быстро, подгоняемые палкой надсмотрщика; собаки лаяли на темнокожих мавританцев, гнавших перед собой верблюда, который сгибался под тяжестью сидящих на нем женщин и детей.

Прошел день, и они уже ехали вдоль берегов озер Неми и Альбы, осененных тенью каштанов, выросших на земле, образовавшейся из пепла и пуццолан. Наконец, впервые серые очертания Рима обрисовались на горизонте! Дорога потянулась среди гробниц гордой архитектуры, источенных солнцем и белых на синем фоне окрестностей, среди гробниц, на которых были имена Септимия Севера, Геты, Галлена, Сенеки и Цецилии Метеллы. Вилла Коммода, скончавшегося менее чем четверть века тому назад, привлекла к себе

Амона, которому захотелось обойти ее вокруг; а за ним пошла и Иефунна, тревожно следившая за каждым движением его диплойса. Но Никодему вздумалось позабавиться, и он крикнул Амону из глубины своей бастерны, откуда виднелся только клочок его черной, как уголь, борода:

– Не ходи туда, не ходи! Тень Коммода преследует египтян, которых он не любил при жизни.

Амон, одновременно болтливый, наивный и трусливый, немедленно вернулся. Иефунна тотчас же пошла опять за отцом, глаза которого на миг блеснули при взгляде на сундук, оставленный в повозке александрийца.

Вдали пенился Тибр, то скрываясь, то вновь появляясь в дрожащем сиянии. Сливаясь, синели горы, и резко выделялись дороги, фермы и виллы, мосты, группы сосен и кипарисов.

Одно и то же восклицание вырывалось из всех грудей, взволнованных близостью столицы:

– Рим!

Белое видение все росло и росло в дымчатом тумане. И это, действительно, был громадный, дивный Город!

Тогда поднялись крики. В особенности волновались иностранцы, заветной мечтой которых было увидеть Рим. Они вставали в своих повозках, приподымались в седле, взбегали на возвышения, чтобы лучше видеть город, крыши, дома, арки, портики, колонны, цирки, горреи, нимфеи которого сверкали розовыми и желтыми отблесками. Африканские

фигляры поочередно брали друг друга на плечи, и даже маленький мавританский караван со своим верблюдом не отставал от других. Слышались переливы инструментов. Каждую, вновь увиденную часть Рима приветствовали на всех языках, и все сердца бились при виде города, который скоро поглотит эту толпу, пришедшую со всех концов мира. Атилий и Мадех не говорили, не улыбались. Атилию сквозь Рим виделся Эмесс. Мадех же под влиянием внезапного беспричинного и острого предчувствия положил руку на свой черный амулет, как бы боясь, что его отнимут.

IV

В предместье, на правой стороне Тибра, дома с изрытыми стенами, покрытыми желтой известью или стучом, некоторые в несколько этажей, загромождали узкие улицы, темные, как улицы восточных городов. Сырые углы площадей, в которые изредка золотой лентой проникал солнечный луч, скользнувший с крыши, закоулки, украшенные нишами в гирляндах, где хранили неподвижные изваяния богинь и богов. Повсюду теснились низкие лавки с выставленными товарами; в мясных на железных жердях висели части туш и огромные бычьи сердца; в булочных рядами красовались круглые и выпуклые хлеба. Чуть дальше расположились мастерские по производству сандалий, кожаных и деревянных ботинок, по изготовлению светильников из давленной меди и

лаковой глиняной посуды, блестящей в полумраке. На окнах с деревянными решетками развевались куски материй, а на веревках, по стенам, висело множество звенящих вещей.

На пустынном участке земли, на берегу Тибра, стоял небольшой домик с отверстием в крыше, откуда клубился черный дым; а перед домом, в узком садике, весело цвели гелиотропы и розы. В глубине его было устроено подобие сарая, заваленного кусками глины, квадратными кирпичами, вазами этрусского стиля, расписанными лампами, сапогами, сушившимися на полках. В углу, у двери, зияло круглое жерло потухающей печи.

Краснолицый мужчина с волосами в мелких завитках, в разорванном шерстяном плаще, с обнаженными до плеч руками и голой грудью вертел гончарный крут. На узкой горизонтальной доске глина размягчалась и превращалась в продолговатые вазы, стройные, как распутившиеся лилии, или в круглые блюда, или овальные амфоры с остроконечным основанием. Другой человек, худой и темноволосый, сидя на скамейке из пальмовой плетенки, расписывал вазы кистью, окуная ее в горшки с краской. Он украшал их черными и красными геометрическими фигурами, изображениями богов и изгибающихся борцов, группами колесниц, несущихся в лазоревом пространстве.

Несколько поодаль третий гончар прикреплял ручки к вазам и резал большие куски глины, которые бросал вращавшему кругу.

Этот работник насвистывал какую-то грустную мелодию, сопровождая ею скрип гончарного круга и глядя только на глину, размягчавшуюся и оживавшую в его руках.

Ничто не останавливало работы гончаров, окутанных летучей солнечной пылью, а сквозь нее, на желтом фоне густых ветвистых лесов, виднелись, как в мираже, гелиотропы и розы, большие цветы и листья, склонившиеся к земле, как складки одежды. Через плетень из сухих тростников, отделявших мастерскую от дома, смотрел, опираясь на большую кривую палку, старик, едва прикрытый стянутым в талии холстяным плащом, в шляпе из рыжей шерсти на седых и очень длинных волосах, сходящихся с бородой. Он был худ и высок, с красными кругами вокруг глаз, с тонкими губами, с желтой, покрытой рубцами кожей, на которой выступали узловатые жилы. Ноги его были босы.

Он стоял молча и ждал.

Краснолицый гончар поднял голову.

– Магло! – воскликнул он. – Это ведь Магло, которого мы все ожидаем?

И он быстро оставил гончарный круг, который издал резкий свист. Двое других прекратили работу.

Гончар отворил старику дверь, тот вошел, протянул к ним руку и пробормотал несколько слов. Они опустились на колени, затем встали, а Магло, озабоченный и усталый, сел на скамью.

– Отец, ты ел? – спросил гончар, глядя на него со внима-

нием и заботливостью сына.

Магло ответил:

– Да! Да! Я ел, я сыт!

Все трое проявляли к нему умильную почтительность и не перебивали его. Опершись подбородком на палку, старец пристально смотрел на землю:

– Пройти Галлию и Италию, переплыть реки, пройти горы, не жалея свою старость, страдать от голода, холода, жары, побоев, обид и насмешек – и все это для того, чтоб увидеть Рим и впасть в его мерзость. Это тяжело, тяжело!

Он выпрямился во весь рост и угловатым жестом протянул палку, указывая ею на Рим.

– Предсказываю, предсказываю! Если никто не уничтожит эту блудницу, которая отдается сынам Востока, то все погибнет. Гниль ее распространится по Земле – и горе, горе всем!

Двое содрогнулись. Но Геэль, тихо сжимая руку старца, заставил его сесть и быстро сказал:

– Да, мы уничтожим ее, отец! Число наших братьев все растет. Но нам нужно время, чтоб разжечь огонь, который поглотит ее совершенно!

Он спокойно смеялся и другие вторили ему хором, как бы желая успокоить пришельца, который продолжал:

– Что это за часть города, где блудницы зазывают прохожих? Я видел, как мужчина обнажил женщину. Я видел, как юноши ласкали развратников и осквернялись с ними. Я видел старух, деливших ложе с малолетними. Это конец всех

концов, этого достаточно, чтоб Солнце закрыло свой лик.

– Ты прошел по Субурской улице? – робко спросил гончар.

– Эта улица – путь гибели, – быстро сказал Магло. – Подожгите эту грудку гнилья, которая заразит народы!

– Просвещение светом истины идет вперед, отец! – уверял Геэль, после некоторого молчания, надеясь внести мир в душу старца, гнев которого смущал его.

– Нас немало в Риме, чающих пришествия Агнца, и мы многого ждем от новой власти, возникшей на Востоке; она подготовит сердца для Крейстоса.

– Восток, Восток! – воскликнул Магло. – Разве это не Вавилон?

– А Вавилон это – Рим, – ответил Геэль, снова улыбаясь. – У нас есть бедняки и блудницы в несчастии.

Старец быстро встал:

– Мне говорили, мне говорили! – застонал он. – Вы, живущие в Риме, вы не гнушаетесь гнилых плодов, от которых сами сгниете.

– Мы собираем семена везде, где их находим, – сказал Геэль. – Взгляни на моих работников: Ликсио, фригиец, приговоренный к распятию на кресте за убийство своего господина; Ганг, кампаниец, которого прокуратор разыскивает за кражу, – оба они скрылись от чиновников, и я приютил их. Им нечего здесь бояться: это братья.

Магло внимательно посмотрел на Ликсио и Ганга. Геэль

смиренно, но уверенно продолжал:

– И я сам, уроженец Сирии, разве я не был за Евфратом, в разлуке с братом моим Мадехом, быть может, умершим, быть может, рабом, кто знает?.. И разве не нахожусь я под угрозой закона империи за поджог города?

– Увы, увy!.. – произнес Магло и замолк.

К нему возвращались чистые грезy, которые наполняли его душу светом в его пещере в Альпах перед снежной картиной гор, перед синими горизонтами, холодными водами, струящимися в лощинах, где краснеют морщинистые лесные яблоки и черника покрывает гнезда юрких ящериц. Старость застала его девственным.

И перед его глазами стоял образ властной Майи, запечатлевшийся в его мозгу и унаследованный от его предков, скандинавских гелльветов. А еще виделось ему бледное лицо Богочеловека, попирающего пятою семь голов греха: сладострастие, блуд, изнасилование, скотоложество, содомию, прелюбодеяние и растление. Молва о его святости дошла по Роне до Лиона, проникла за море и постучалась в двери Рима, куда призывали его поклонники Крейстоса. И направленный к Геэлю одним из далеких учеников, он пришел, чтобы при жизни увидеть Рим, и для того, чтобы еще сильнее укрепилась в нем вера. И какое разочарование постигло его!

– Ты останешься здесь, – сказал Геэль, радостно улыбаясь. – Я прикажу приготовить тебе ложе, потому что ты у своих.

В эту минуту решетчатая дверь отворилась. Магло вскрикнул:

– Она! Это погибель! Та, что я видел сегодня утром.

Неприступный и суровый, он хотел удалиться, но маленькая ласковая ручка завладела его рукой, и к ней прильнули чьи-то губы.

– Да, я знаю, ты прошел мимо моей двери, и я тебя позвала. Но не все ли равно! Геэль сказал мне, что я прощена.

Магло смутился, слегка смягчившись; он машинально начертал крестное знамение над головой молодой женщины, которая бросилась к нему. Низкая митра была надета на ее голове; волосы приглажены на висках, брови соединены черной чертой; в ушах тускло блестели бронзовые кольца; груди колебались под светло-желтой полотняной субукулой, высоко подпоясанной; сандалии завязаны на обнаженных икрах; на щеках – слой меловых белил. Серебряная пряжка с головой Медузы скрепляла на ее плече паллу, незатейливо открытую под мышкой.

– Довольно, довольно, Кордула! – строго крикнул Геэль, приметив замешательство Магло.

Кордула поднялась в смущении, но все же поднесла к носу Геэля четырехугольную душистую ладанку.

– Понюхай! Мне подарил ее один человек. Это как будто мирра и вервена.

И она убежала, точно промелькнуло золотистое видение в тонком аромате вервены и лупанара. Геэль сильно покраснел

и пробормотал:

— Разве можно сдержать этих женщин? С ними надо быть добрым и снисходительным, потому что они нас любят, а Крейстос не был врагом любви.

— И ты любишь их, любишь их тело? — спросил Магло, сдерживая себя.

Послышался шум смешанных голосов. И в гончарную мастерскую вошли человек двенадцать мужчин и женщин, которые поздоровались за руку и торжественно поцеловали друг друга в щеку. Они пришли ради Магло, зная, что в этот день он должен прибыть к Геэлю. У него они часто собирались; это были христиане, объединенные одним и тем же видом причастия в общее трогательное братство; лишь изредка в него только вносили разногласие различные споры о догматах.

Ликсио и Ганг прекратили работу. Геэль усадил сектантов на низких плетенках из ивы с берега Тибра, посреди кусков глины и ваз, на которые луч солнца падал золотой пылью. Когда, поцеловав сухие пергаментные щеки Магло, пришедшие упросили его говорить, то он медленно, но звучным голосом, стал рассказывать им про христианские церкви в Галлии, которые он посетил, покинув Гельвецию. Хотя проповедь веры была там на тернистом пути, благодаря некоторым народностям, враждебным Агнцу, зато Рим смутил его своими лупанарами, открытыми для всех, беспутством его обитателей, которое смрадными потоками и душевным мраком

покрывало оскверненный мир! И он заплакал, ударяя палкой оземь; затем, откинув назад широкие поля своей шляпы, встал, грозя протянутой рукой и выставив вперед большие голые ноги. В его грозных словах Рим являлся в виде злого зверя, несущего на хребте своем все грехи, и ему хотелось бы жестоко преследовать его, убить его своей палкой и зарыть в ту грязь, в которой он привычно пресмыкался. Но тут прервал его один из христиан, молодой человек гордой внешности, с открытой шеей, коротко остриженной головой, с продолговатым, тонким и умным лицом; черные глаза придавали этому тридцатилетнему человеку обаяние, отражая красоту души, горящей необычайным оживлением. Короткая остроконечная борода дополняла его апостольский облик, полный человеколюбия. Он был одет в простую тунику из грубой шерсти, заботливо заплатавшую, и в деревянные сандалии на босу ногу. Звали его Заль. Он заговорил:

– Агнец не хочет, чтобы средоточие мира и престол его грядущей славы терпели поношение от нашего брата из Гельвеции. Из той гнили Рима вырастет божественный цветок Крейстоса!

Прочие взглянули на Магло, ошеломленного на миг, он возразил:

– Рим, Рим – это гниль!

Он повторил это глухо, как бы перед видением лупанаров Субуры и все еще изумленный внезапным вмешательством Залья; а тот уверенно продолжал защищать Рим, уже

не смущаясь святостью Магло и чувствуя, что в нем слабеет его прежняя вера в одинокую чистоту Крейстоса. Тогда чей-то голос сказал:

– Величие Крейстоса царит над всем и может возникнуть из всего!

Христиане склонились перед той, кто произнес эти слова. То была женщина двадцати пяти лет, выразительная и пылкая в каждом движении, с величественной внешностью патрицианки, отрекшейся от мира; без драгоценностей, без румян и белил, одетая строго в белую столу с прямыми складками; палла закрывала ее трепещущие плечи, на которые падали подвижные пряди черных волос, вырвавшиеся из-под повязок на слегка наклоненной голове. Другой христианин выступил вперед:

– Наша сестра Севера права. Но это величие бестелесно, оно есть чистый дух, как и тот, от кого оно исходит!

Говоривший эти слова, был высок, худ и уже зрелого возраста – сорока лет. На нем была черная туника, волосы были плохо острижены, и его бритое лицо изобличало человека, которого терзают тайные страсти. Он обладал резким голосом, что давало ему возможность быть убедительным в определенных христианских кругах – он выступал в манере догматика, закрывая глаза, высоко держа подбородок над прямым воротом и презрительно относясь к тому, что о нем говорят и думают другие вероучители. Хотя они и считали его знатоком апологетики и человеком с широким кругозором,

все же не стеснялись иногда обнаружить в нем какой-нибудь порок, недостойный христианина, вследствие чего Атта – так его звали – был вне сходов и интимных собраний верующих каким-то жалким, нуждающимся паразитом, льстивым перед сильными и готовым продать веру за несколько золотых или даже за несколько кусков хлеба и сардин. Но он оберегал себя от подобных обвинений, еще не предъявлявшихся ему в грубой форме и, чтобы лучше защититься, держал себя, как приверженец официальной церкви христиан-политиков, богатых и ловких, поддерживавших под наблюдением римского епископа Калликста, – а до него, Зефирина, – только отдаленную связь с более скромными, смиренными, тихими и братствующими общинами церквей, к которым принадлежали те, кто был у Геэля, и сам Геэль.

Эти церкви колебались между различными толкованиями учения, настолько свободными и уступчивыми, что они приближали их к некоторым обрядам политеизма или, по крайней мере, к некоторым политеистическим идеям для объяснения Божественной силы, олицетворенной для них в образе Крейстоса. Многие объединялись по национальностям, и это отличало их от политических общин, с более резко выраженным интернациональным характером. За исключением Северы, римской супруги одного патриция, давно уже удалившегося от дел империи и императоров, которую влекла к Залю, – как остроумно выражались, – любовь к Крейстосу; за исключением Атты, путем борьбы водворившегося среди

них, быть может, во властолюбивых целях, все те, кого соединило у Геэля присутствие Магло, были детьми Востока: Персии, Фригии, Понта и Халдеи, и потому они чувствовали еще несознаваемое ими самими, но осязаемое сродство с новой империей, молодой и обаятельный повелитель которой должен был завтра вступить в Рим. Об этом-то они и заговорили. Заль предпочитал Элагабала с его извращениями и Черным Камнем, тень которого уже поднималась над римским горизонтом, и с его жрецами, – всем императорам-политеистам, которые, к его великому сожалению, не достаточно споро разрушали мир. Господство Крейстоса родится из гнили Элагабала, а не из здоровой и сильной жизни других богов! Он говорил это горячо и смело под пристальным взглядом Северы; Магло качал головой, сидя и держа посох между ногами, а Атта переводил тревожный взгляд с Геэля на других христиан и иногда строго смотрел на Заль, озаренного теперь лучами солнца.

Магло пришел слишком издалека, чтобы сразу освоиться с теориями Заль, и потому перевел спор на естество Сына человеческого, так как идея эта была ему очень дорога. Возникли разногласия. Одни доказывали, что Крейстос, как человек, был существом бестелесным; другие утверждали, что он был чистым Духом; Геэль скромно заметил, что Крейстос и Отец его составляют неизменяемое соединение всех богов. Но Магло заткнул уши и встал, еще господствуя над бедными туниками христиан, обратившихся к нему:

– Богохульство! Агнец, в отдельности от Отца, равен ему по силе. Я, Магло, его видел, с его семьёю кровавыми ранами: Отца, властителя грома и всех благ, справа от него, а Духа – слева.

Атта ответил ему высокомерно и властно, казалось, презирая незначительных слушателей:

– Все должно объединиться в Божественном единстве Крейстоса. Опасна идея троичности, прославляемая Магло.

И так как Магло, задетый в своей святости, смотрел плаксиво, то Атта заявил, что вопросы о догматах должны быть предоставлены иереям объединённых церквей. Но Заль восстал против того, чтобы руководство душами было отдано во власть людям, вера которых не всегда несомненна:

– Дух проявляет себя, где может. Человек подвластен греху; мы не можем отдать эти споры на произвол их страстей.

Он отвергал всякую власть, явно имея в виду Атту, который в ответ презрительно и лицемерно пустил в него отравленную стрелу:

– Берегись, Заль, чтоб этот дух не был демоном!

Заль вскочил и погрозил ему кулаком:

– Демон в тебе, в тебе, нечистом, который скрывает свою низость под ложной святостью.

И, казалось, он готов был его ударить и, возмущённый, бормотал про себя то, что уже давно рассказывали про Атту, про его паразитство, его тайные пороки и подозрительное общение с язычниками. Но все шумно встали, их разъеди-

нили. Атта был бледен:

– Я заставлю низвергнуть тебя из клана верующих!

– Я открою всем твоё лицемерие!

Разъяренный Атта направился к дверям и в тот момент, когда к Залю приблизилась взволнованная Севера, бросил ему в лицо:

– Горе, горе, горе тебе!

Все содрогнулись после этой сцены, которая так резко положила конец спору, начатому Магло. Заль ничего не говорил более. Магло проводил худыми руками по своей волнистой бороде и беспокойно смотрел на верующих. Но те, а вместе с прочими Заль и Севера, разом ушли. Остались только Геэль, его работники и Магло, – и все молчали.

V

В Транстиберинском предместье стоял сильный шум, ревели толпа, люди бежали к Сублицийскому свайному мосту. Дети, копавшиеся в мусоре, пугались; в отверстиях окон сталкивались любопытные головы, а низкие таверны, с одним навесом, поспешно закрывались из боязни. Толпа выкрикивала различные имена Элагабала: называли его Антонином, так как мать его, Сэмиас, уверяла, что он родился от Антонина, а также Бассианом, Варием, Авитом и Сирийцем.

Геэль пробивался сквозь группы теснившихся граждан и рабов; над их головами, на дощечках или на прямых жер-

дах, были выставлены статуэтки, железные изделия и большие куски соленой свинины; по временам продавцы, ропща и уворачиваясь, спасались от ударов мечей в руках солдат, покрытых железом и медью. Пришельцы с Востока, длинные полосатые одежды которых выделялись подвижными пятнами среди грязно-белых римских тог, били в барабаны, обтянутые кожей, и дули в прямые трубы из блестящей меди; проститутки громко бранились между собой, и матроны догоняли своих полуголых детей, прыгавших повсюду.

На Священной улице, куда выбрался Геэль, промелькнула мимо него лектика, в которой четверо рабов несли двух мужчин, лежавших на пурпурных подушках; один из них был бледный, с короткой каштановой бородой, другой – моложе, большой ребенок, только что вышедший из отроческого возраста, с золотистой кожей, быстрым взглядом и вьющимися волосами. Геэль смотрел на него в щель между плагулами – шелковыми занавесями – и воспоминание о брате, с родины, навсегда утраченном, вставало перед его глазами, и чем дольше он смотрел, тем сильнее крепло это воспоминание. Да! Это действительно Мадех, тот самый, о ком он говорил Магло. И, потрясенный, восторженный, он воскликнул:

– Мадех? Это я! Я!

Он бежал за носилками, чтобы привлечь внимание вольноотпущенника, лежавшего рядом с Атиллим. Но Мадех не слышал его в окружающем шуме; Атиллиий же мечтал...

Тогда Геэль вдруг раскрыл всю занавесь; лектика остано-

вилась по знаку Мадеха, который увидел Геэля. Узнать его и после краткого колебания сойти и поцеловать – было делом мгновения.

– Да, да, это я! Я приехал оттуда, знаешь, добрый мой Геэль!

И он все еще обнимал его со слезами на глазах, а Геэль восхищался им, ощупывал его шею, руки, волосы, вдыхая аромат далекой страны. И так как Атиллий смотрел на них безучастным, почти мутным взглядом, то Мадех сказал ему:

– Это мой брат с родины, о котором я часто тебе говорил; он спас меня, когда римские legionеры убивали моих соплеменников. Если б не он, я был бы мертв, может быть, или далек от тебя!

Он говорил это поспешно, счастливый тем, что Геэль разделял его радость, видя его в дорогой одежде, с митрой на голове, которая чудесно шла ему, и что Атиллий увидел его брата из Сирии. И Атиллий милостиво сказал из глубины лектики:

– Беги с нами и будь вместе с нами!

Мадех лег снова, и носилки двинулись вперед между Виналом и Эсквилином, на которых возвышались дворцы и дома, красиво окрашенные в шафранный цвет. Носилки свернули в сторону: перед ними открылся Каринский квартал с храмами, многочисленными портиками, термами и садами с изящной растительностью. И толпы народа постоянно двигались с соседних высот, появлялись из-за высоких

домов с выступающими вперед деревянными окнами; народ стремился влево, к Священной улице, как бы выливаясь из сверкающих щелей, в ярком полуденном солнце, пестря одеждами среди развевающихся занавесей и тканей, которыми люди махали с высоты колесниц, украшенных слоновой костью и серебром.

И все время слышались обаятельные имена Элагабала, как будто от этого молодой император должен появиться скорее, внемля долгим радостным кликам.

– Завтра божественный Антонин вступает в город, – сказал Мадех громко, чтоб Геэль мог его расслышать в шуме. – Народ хочет приветствовать его при приближении к Риму.

Лектика свернула в узкую улицу, стиснутую молчаливыми домами с железными затворами у дверей, и остановилась перед домом, окаймленным пилястрами; дверь отворилась, и в ней показалось розовощекое лицо янитора, привратника. За дверью виднелись сени, а в глубине дома, за вестибюлем – желтая площадка, прямой ряд колонн из красного травертина, анфилада уходящих вдаль зал, пронизанных солнечным лучом, подобным широкой серебряной ленте.

Атиллий и Мадех вышли из лектики. Мадех обнял Геэля, который колебался.

– Он разрешает тебе войти, – сказал Мадех, – он любит Восток и наш народ.

И он увлек его вслед за Атиллием, в то время как со всех сторон сбегались невольники.

В атрии, украшенном мозаикой и бледными фресками, доходившими до карниза колонн, раздался хриплый крик. Серая обезьяна, прикованная к жертвеннику у края бассейна, смотрела своими почти человеческими глазами на Атилия, а какая-то тень колебалась на стене, расписанной пестрыми стаями птиц, порхающих среди голубых и розовых облаков. Геэль, не знавший, что сказать, и шедший с осторожностью, увидел павлина, распутившего свой хвост, пышно и величаво в спокойной гармонии радужных переливов. Птица, подняв одну ногу и с загадочным видом устремив взгляд на кусок голубого неба, отражавшийся в комплювии через отверстие в крыше, оставалась неподвижной.

– Ты тоже шел навстречу Антонину? – спросил Мадех Геэля, в то время как Атилий направлялся к перистиллю в глубине узкого убранного тканями коридора, где его белая туника с двухцветными полосами выделялась светлым движущимся пятном.

– Да, брат Мадех, – ответил Геэль. – Говорят, что, отвергая всех римских богов и признавая только одного бога, с Востока, он будет благосклонен и к нам.

– К нам? – спросил, недоумеая, Мадех.

Он взял Геэля за руку и усадил рядом на бронзовом сиденье – биселлии. Павлин все шире распускал свой хвост, а обезьяна спокойно пила из позолоченного солнцем бассейна неопределенной глубины, в котором тихо колебалась вода.

Сделав быстрое движение, Мадех открыл черный конус

амулета, висевший на тонком шнурке на его шее, и, когда Геэль раскрыл рот от удивления, поспешно сказал:

– Да, да, я жрец Солнца, посвященный Атиллием богу света и жизни, богу Элагабала, соединяющему в себе всех богов.

– А!.. – промолвил Геэль.

Он сидел задумчиво, охваченный суеверным страхом перед этим жреческим званием, и исподлобья взглядывал на Мадеха, чьи волосы приятно благоухали, чье гибкое, отполированное пемзой тело было умащено после бани маслом, перемешанным с разными благовонными эссенциями.

Он имел нежный и счастливый вид эфеба, который от ничтожной причины может лишиться чувств. Его кольца сверкали; застежка длинной туники искрилась; его сандалии, окаймленные серебром, были украшены над ступней горящими драгоценными камнями в узорчатой оправе, в которой слоновая кость, бирюза и золото переплетались в виде извивающихся растений. И, главное, движения его были изнежены, а гибкая спина чутко вздрагивала, как у блудницы, холое тело которой реагирует на малейшее прикосновение. Геэль понял, и его взгляд встретился с взглядом Мадеха.

Они заговорили, пробуждая в памяти годы, проведенные на берегах Евфрата, куда их увлекли толпы восставших, в местности, полной на необозримом пространстве развалин, испещренных клинообразными надписями. Их удивляло, что они так быстро и как бы инстинктивно узнали друг друга после той долгой разлуки, в течение которой

оба выросли и изменились до неузнаваемости. Расставшись детьми, они встретились теперь взрослыми.

– Понял ли ты, почему мгновенно наши души откликнулись и наши лица узнали друг друга?

– Что увековечило нашу дружбу и запечатлело ее в сердцах, несмотря на протекающие годы?

Они продолжали разговаривать; Геэль приблизился к Мадеху, который чувствовал как бы легкую нервную дрожь. И грубая внешность гончара, его жирные от глины руки, его густые выющиеся волосы и жесткая кожа в веснушках не были ему неприятны. Внезапно Мадех сказал:

– Ты поклоняешься Крейстосу, я это понял. Элагабал чтит его, и Атилий, советник Элагабала, видит в нем проявление жизненного начала.

– Значит, мы будем под покровительством империи, – сказал Геэль, который не все понял из слов Мадеха. – Один из наших, по имени Заль, пришедший также с Востока, полагает даже, что Черный Камень направит мир к поклонению Крейстосу.

Раздался плеск воды в бассейне, и оттуда высунулась пасть, желтый зоб, неподвижные глаза, плоский череп с зеленоватыми чешуями. И эта голова неподвижно уставилась на обезьяну, которая делала ей гримасы; хвост павлина сверкал каскадом самоцветных камней в фиолетовых, синеватых и рубиновых переливах. Затем послышался звук шагов, и раздвинулся занавес, затканый желтыми узорами, с гречески-

ми углами. Появился Атиллий, сверкая золотыми бляхами халькохитона, в шлеме с пышным султаном и доспехах, облегавших икры; синяя хламида была прикреплена к панцирю фибулой с большим сардониксом. При виде Мадеха и Геэля он улыбнулся, и эта бледная улыбка, скользнувшая по окаймленному короткой бородой лицу, печальному и строгому, с нежными голубоватыми тенями, была так необычна, что Мадех в смущении встал, закрывая собой испуганного Геэля.

– Мы беседовали о земле, которая видела наше рождение, и я неустанно слушал Геэля, который поклоняется Крейстосу.

– А! Ты поклоняешься Крейстосу, – сказал Атиллий, пристально взглядывая на гончара. – Империя, желающая объединения богов в Черном Камне, будет благосклонна к тебе и к твоим друзьям, хотя ваш Бог не есть полное олицетворение единой жизни. Но если вы уповаете на Элагабала, то он примет вас под свою защиту.

И он повернулся к нему спиной, сделав знак, что тому следует удалиться, и бросил странный взгляд Мадеху, который проводил Геэля до выхода, откуда несколько ступеней вели на пустынную улицу, залитую солнцем.

– Приходи сюда ко мне, – шепнул ему Мадех, – я буду жить здесь постоянно, если только Атиллий, примицерий преторианцев, не увезет меня во Дворец цезарей, где будет обитать божественный Элагабал.

– Божественна только личность Крейстоса, – ответил Гель, обнимая Мадеха и покидая его с печалью.

VI

Колесница тронулась и унесла Атиллия и Мадеха. Лошади побежали рысью, замелькали колеса с двенадцатью плоскими спицами и взволновалась маленькая, глухая улица Каринского квартала. Граждане отступали перед звонкой колесницей с высоким квадратным сиденьем, украшенным бронзой, слоновой костью и резьбой из золота и серебра. Аурига, бегающий рядом, быстро правил четырьмя белыми конями.

Вокруг римлянина и сирийца, в облаках пыли, слышались проклятия, сверкали гневные взгляды старых политиков-западников, возмущенных вторжением нового культа, который приближался вместе с шествием Элагабала. Какой-то плебей показал кулак Мадеху, митра которого изобличала его национальность; другие смеялись, указывая на Атиллия в золотом панцире, усеянном эмалевыми украшениями. Очевидно, римскому населению уже были противны нравы Востока. Становилось ясно, что оно не примет ни Черного Камня, ни его поклонников, ни жрецов и чудотворцев, ни его императора; и что когда-нибудь оно прогонит варваров, грубый ум которых стремится обезличить богатую, живую и трогательную мифологию западного мира ради нового божества, слишком простого по форме и годного только для

низших умов, ради божества с противоестественным значением, стремящегося поглотить других богов, так дивно очеловеченных.

Исполнив свою миссию в сенате, Атилий принял звание главного начальника преторианской гвардии и отправился для принятия нового поста в лагерь Элагабала, то есть в лагерь преторианцев, на высотах города.

Под яркими лучами солнца шли когорты, во главе их музыканты играли на длинных бронзовых трубах и медных рогах. Под гром восторженных приветствий промчался отряд конницы с развернутыми знаменами. Это было на Квиринальском холме, правая сторона которого была невзрачной, зато левая была богата храмами, садами и дворцами; отсюда сквозь клубы дыма, поднимавшегося, подобно громадному столбам, к темно-синему безоблачному небу, виднелись предместья Рима, серые и голубые. Его улицы, то широкие, то узкие, пестрели, словно шахматные фигуры, пешеходами и колесницами. По сторонам высились здания: белые и многоцветные гробницы; виллы, обнесенные стенами садов, в которых радостно благоухали цветы, – розовые, фиолетовые, красные и голубые; акведуки, идущие над крышами домов; многочисленные террасы, на которых виднелись силуэты римлян и римлянок в тогах, хламидах, туниках, циклах, синтесисах, – полная гамма цветов и оттенков.

Колесница спустилась с Эсквилинского холма и под крики тяжело дышащего и обливающегося потом возницы вклини-

лась в еще более сгустившуюся толпу, которая бросала в лицо неподвижным Атиллию и Мадеху свой гнев, негодование и проклятия. Наконец, в глубине долины обрисовался лагерь преторианцев, который был лагерем Элагабала; оттуда поднимался легкий дым и доносились повторяющиеся звуки музыки, а со всех сторон текли смешанные толпы граждан, рабов и вольноотпущенников великого города, покоренного Востоком.

Тут были стремившиеся навстречу Антонину чиновники и спешившие признать новую власть сенаторы в черных сандалиях, ремни которых доходили до середины ноги и заканчивались золотой или серебряной пряжкой; и всадники с нашитой на середине туники пурпурной полосой, более узкой, чем у сенаторов; и трибуны с мечами, восседавшие в колесницах на складных сидениях, украшенных слоновой костью; и граждане, в сопровождении рабов, в пышных венках из роз; затем продавцы оладий, жареной рыбы и горячих напитков; гадалы, фокусники, глотающие мечи, либийские заклинатели змей, намотанных на их лоснящиеся руки; гладиаторы, окруженные любопытными; солдаты, догонявшие свою когорту со звоном копий и железных касок. И вся эта толпа устремилась вперед, спинами к городу, стараясь разглядеть лагерь вдаль, определенный и симметричный с палатками, знаменами и высокой стеной из дерна, со своими улицами, конями, баллистами и катапультами на черных подмостках. А в верхней части лагеря возвышалась обшир-

ная палатка, вся из пурпура, увенчанная развевающимися знаменами: палатка юного императора.

На расстоянии эта картина была грандиозной, неохватной для взгляда: лошади в ярких попонах, привязанные к вбитым в землю кольям; декурионы, наблюдающие за покрытием палаток кожами; солдаты, острящие о камень дротики или примеряющие железную кольчугу. В проходах двигались патрули, сверкая круглыми или прямоугольными щитами, а вокруг рвов с ржаньем и шумом скакали отряды конницы. Голоса и споры тонули в неистовых звуках труб, пение которых ясно доносилось.

Атиллий и Мадех уже подъехали к воротам, откуда широко открывался вид на лагерь, как вдруг там раздался шум и возникла крупная ссора, по-видимому, окончившаяся ударами копий: они увидели трех человек, отбивавшихся от натиска солдат. Это неожиданное происшествие вызвало у Атиллия слегка благосклонную улыбку, подаренную Амону и несколько насмешливую по отношению к Аристесу и Никодему; все трое вопили, широко раскрыв плачущие глаза, с неподдельным ужасом на лицах. Вырвавшись из рук солдат, александриец и оба грека бросились к Атиллию. Никодем торопливо стал умолять его о заступничестве и в заплетавшейся речи объяснил, что он и его прекрасный товарищ Аристес и богатый торговец чечевицей Амон, очень благоразумный александриец, отнюдь не злоумышляли против императора! Нет! И если Амон спустился в ров лагеря, то толь-

ко затем... затем, чтобы...

Он не договорил, но Амон, распростертый на земле, продолжил объяснения: он хотел только прислушаться к течению рукава Тибра, отведенного в ров лагеря, как убеждали его в этом Аристес и Никодем. Воды этого рукава увлекали с собой даже крокодилов, пойманных когда-то в Ниле, их держали таким образом в Тибре, но оттуда они вскоре исчезали. Круглая физиономия Амона, когда он это говорил, его жалобный взгляд напоминали невинный лик младенца, — и Атиллий распорядился отпустить всех троих.

Плотно стянув на себе широкие одежды, с явным желанием уйти поскорее, они исчезли, не забыв, однако, горячо поблагодарить Атиллия, который на миг улыбнулся доверчивости Амона и злым шуткам Аристеса и Никодема.

В лагере Атиллию и Мадеху прежде всего встретились гастарии, которые собирали в связки свои высокие копья; затем их приветствовали суровые принципы, в панцирях, покрытых железными бляхами или сплетавшимися кольцами. Отряды конницы производили свои упражнения, муниципии охраняли палатки со знаменем когорты или манипулы у входа. Наконец, вооруженные дротиками триарии, старые солдаты с огрубевшей кожей, выстроились в ряд по данному сигналу, а на окраине лагеря собрались легко одетые велиты, молодые и горячие, и следовавшие за Элагабалом с Крита и из Ахайи пращники и стрелки из лука. В лагере царило чрезвычайное оживление. Декурии пехотинцев и

всадников шли ритмическим маршем, солдаты и их начальники наполняли форум, и среди них выделялся квестор в красной хламиде. Опустившись на одно колено и приподняв локоть, ауксилиарии играли на медных сигнальных рожках, в виде железных раковин или согнутых рогов. Катафрактары, одетые с головы до ног в узкую кольчугу из бронзы, золота или позолоченного серебра, сидели на грузных конях, которые, благодаря их снаряжению и броне над ноздрями, имели какое-то сходство с гигантскими крокодилами; арабские стрелки снимали путы со своих стройных и нервных лошадей. Либийцы били верблюдов, которые качали своими костлявыми, загадочными головами. Рабы играли в кости в тени деревьев бузины и качелей. Рабов было множество, почти все азиаты, их одежды без пояса с широкими и длинными рукавами развевались, обнажая гибкие торсы; за ними подолгу следили латники в окаймленных медью панцирях. Вблизи императорской палатки лагерь отличался и чрезмерной роскошью, и беспорядком. Одни женщины, украшенные обернутыми вокруг тела, от шеи до бедер, золотыми цепями, сидя перед палатками начальников, играли на цистрах, поднимая голые руки и открыв очищенные от волос подмышки. Другие торжественно шли, играя на псалтерионе, иные же кружились в танце в узких промежутках между красными и желтыми бараками, перед которыми блестили сложенные в связки дротики и железные топоры. И под развевающимися светлыми тканями и прозрачными циклами мелька-

ли матовые белые тела; сверкали запястья, звенели спафалии и повязки на руках и тонких ногах танцовщиц, неслись тягучие звуки тамбурахов с крепко натянутыми струнами, и кикут, и флейт Пана, на которых играли горячие губы, хранившие еще вкус мужских поцелуев. Многие из женщин, сидя на земле в синеватой тени палаток, расчесывали свои длинные волосы, украшенные подвесками из маленьких серебряных монет. Они молчаливо улыбнулись при виде примичерия, быстро проехавшего в сверкающей колеснице вместе с Мадехом. Последний обменялся короткими жестами приветствия с несколькими сирийцами, жрецами Солнца, с такими же, как у него, высокими митрами на голове.

VII

И вот они перед шатром Элагабала, возвышающимся над другими окружающими его палатками. Весь шатер был из шитого золотом пурпура, с желтыми каймами, со звездами из жемчугов и камней, с развевающимися алыми знаменами, высоко уходящими в синеву неба. Преторианцы в шлемах, в обрисовывающих грудь панцирях уходят и приходят. Уходят и приходят женщины в развевающихся циклах, пестрых и переливчатых, которые бросают разноцветные тени на белые войлочные сандалии и обнаженные у ступней ноги. Жрецы Солнца окружают шатер; вход в него закрыт вавилонской завесой, — на ней нарисованы необыкновенные густые

растения, обвивающие своей листвою золотых павлинов, сидящих на головах бородатых царей в тиарах. Ржание и мычание раздаются в этой части лагеря: за спинами коней видны серые хоботы слонов, лохматые шеи верблюдов, изогнутые рога быков, пригнанных через весь Восток за молодым богоподобным Элагабалом, сыном Сэмиас, прекрасным Антонином, великим жрецом Черного Камня и римским императором. Издали доносятся порой рев львов и мяуканье леопардов в клетках.

В полусвете палатки, где на низком треножнике горит в медленном дыму восковая свеча, на желтых подушках, осыпанных громадными аметистами, под обтянутым изнутри золотой материей балдахинном на четырех наклоненных пиках, покоится великолепное человеческое существо: гордая голова пятнадцатилетнего юноши увенчана высокой, затканной жемчугами, геммами и золотом тиарой, из-под которой шаловливо выбиваются длинные черные пряди волос и падают на белые женственные плечи, видные сквозь богатую шелковую субукулу, переливчатую, как перламутр. Раскинув обнаженные ноги, на шкурах пантер лежит Элагабал, открывая свое рано развившееся тело, которое черный евнух со старческой кожей, белыми зубами и глупо вращающимися белками глаз спокойно обмахивает веером из большого загнутого на конце листа лотоса. Позади разместились полукругом Алексан и его мать, Маммеа, сестра Сэмиас и Меза, общая бабушка, с пергаментной кожей, но мягкими чертами лица,

которое она иногда обращает к Элагабалу и затем сморщивает с легкой тенью на лбу, покрытому золотой сеткой.

Возле Сэмиас, чья шелковая стола покрыта тяжелой паллой с прямыми складками, скрепленной на плече янтарной пряжкой и испещренной рисунками алыми, как солнечный закат, зелеными, как глубь лесов, синими, как воды рек, – возле Сэмиас, чьи нервные движения переливают огонь в блестящих украшениях диадемы, венчающей низкое чело этой обуреваемой страстями женщины, – возле нее сидит молодая девушка с красными губами и тревожными глазами фиолетового отлива, с движениями девственницы, близкой к расцвету; сидит она и улыбается, как бы замкнувшись в своем лоне, вздрагивающем от учащенного дыхания. В глубине палатки жрецы Солнца шествуют пред Черным Конусом, высотой с человеческий торс, воздвигнутым на золотом алтаре среди светильников с несколькими лампами, озаряющих углы, заставленные сундуками из ценного дерева с медным орнаментом; персидские маги с длинными завитыми бородами в строгих и царственных одеждах, сараписах, стоят на коленях перед древним изображением оплодотворения.

Когда в светлом пятне между занавесями шатра появились Атиллий и Мадех, молодая девушка вскрикнула, а слегка взволнованная Сэмиас бросила быстрый взгляд в их сторону. В этом шатре, где в удушливом воздухе носился как бы запах человеческой кожи, как бы резкое дыхание людских грудей, смешанное с благовониями, каждый сделал движе-

ние: Элагабал приподнялся на ложе, Меза подозрительно наморщила лоб, Маммеа нежно обняла влажной ладонью колено ребенка Алексиана, который, вздрагивая, принял гордую и суровую позу. Соскользнув быстрым движением с подушек, молодая девушка кинулась в объятия Атиллия, который прижал ее к груди. Их ласки длились долго.

— Маленькая Атиллия, нежная сестра, белая, как цветы лилий! Сестра, сестра моя!

— Брат! Мой старший! Я вся дрожу, видя тебя!

Она не перестает целовать щеки и руки брата, обнимает его, трогает его плечи, видя только его одного во внезапном нервном восторге. Элагабал снова невозмутимо опускается на подушки, а евнух продолжает мягко обвевать его опахалом; восковые свечи горят, жрецы Солнца кружатся вокруг Черного Конуса, маги склоняют бородатые лица над опущенной углом вниз треугольной фигурой, Алексиан и его мать смотрят друг на друга. Меза смягчается постепенно, и грудь Сэмиас высоко поднимается под столой, вызывая шелест тяжелой паллы; взгляд ее больших черных глаз брошен на Атиллия, который в своем халькохитоне имеет величественный вид римского военачальника, а Мадех застыл неподвижно у входа, прижав руки к телу.

Снаружи, точно далекий гром среди шума лагеря, доносится звон оружия и ржание коней, страшный рев и голоса зверей, запертых в клетках.

Родственный восторг Атиллия, нервный порыв и буря

юной крови, стихают в последних поцелуях, в веселом смехе, заражающем и императора, и его мать, и Маммею с сыном и даже бабушку Мезу; их лица в полутьме, изменившиеся от сильного душевного волнения, озарены почти добротой и очень похожи. Затем сестра Атиллия снова опускается на подушки; под ее бледнорозовой, затканной золотом столой чувствуется изящное движение молодых бедер, вздрагивают на шее золотые украшения, сверкают жемчуга на ее желтой, плоской у носка обуви и волнуются высоко причесанные волосы, вымытые утром и совсем желтые под звездами из аметистов. И Мадех заметил, что она выросла и стала тоньше и что ее белая кожа стала розоватой.

От черноты бровей и ресниц, тщательно обведенных антимонием, ярче выступала ее белизна, рожденная в гинекеях и в тени шатров императора, которые уже год кочевали с места на место, знаменуя на каждом этапе новое торжество Элагабала и гордое приближение его армии к Риму.

И как в яркой грезе видится Мадеху Эмесса, где она жила и где он знал ее: сады, и дворцы с прямыми террасами, голубые горизонты, оживленные аллеями смоковниц и пальм, алтари, украшенные громадными, как рождающееся солнце, цветами, струящиеся реки с желтыми водами, пятнистая как мрамор, листва растений. Видятся ему и высокие лестницы, по которым он восходил вместе с прислужницами Сэмиас, храмы с витыми колоннами, шествия увенчанных митрой жрецов, несущих Черный Камень, толпы, распростертые

пред юным императором, рабы и бегущие солдаты, гремящие поднятыми щитами. И ласки мужчин в залах, выходящих в атрии с бассейнами, в обрамлении плоских стрелолистников, поднимающихся к небу, точно громадные острия лезвий. Видение глубоко чарующее! О, зачем оно вызывает на глазах Мадеха горькие слезы, ставшие почти наслаждением для извращенной природы юноши, которого Атиллий хотел бы лишить мужских черт, – и это горе он старается скрыть, потому что в его памяти встает на далеком фоне картин Азии, как бы в утешение, доброе лицо Геэля.

Атиллия смотрит на него широко открытыми глазами, покрытыми темно-фиолетовой бархатистой дымкой, и они как будто видят тревожные горячечные сны. Украшенные множеством колец, пальцы скрещиваются на ее округленных коленях, белизна которых прорезается сквозь тонкую ткань, шелестящую складками.

Издали доносится рокот львов и грозное мяуканье леопардов.

Император говорит Атиллию, – на которого теперь пристально смотрит Сэмиас, – что он назначил его примицерием своей гвардии, так как желает постоянно иметь его при себе, и завтра в великолепном триумфе вместе с ним вступить в Капитолий. Он слегка подносит руку к губам, чтобы сдержать зевок... Заглушая отрывистую команду центурионов, псалтерионы и кифары играют варварские мелодии, в которые врезаются звуки флейт; слышится стук, грохот ору-

жия и ржание коней, а где-то жрецы Солнца падают ниц перед Черным Конусом, как бы подавленные тяжелой дымящейся атмосферой, а маги напевают неведомую мелодию; в бесконечной ярости воют и мяукают львы и леопарды.

VIII

Рим пробуждался от тяжелого сна, все еще видя перед собой грубую картину въезда Элагабала. То был колоссальный праздник, пронесшийся над городом в вихре безумия, отвратительное вторжение сладострастной Азии, побеждающей Рим своими нагими женщинами, жрецами Солнца с их сомнительными телодвижениями и юным императором, которого толпа называла позорными именами.

В банях и в тавернах, под портиками или в тени ростральных колонн, везде вспоминали вполголоса подробности этого торжества, которое продолжалось и на следующий день в оживленных кварталах в виде опьянения, достойного чрезмерной распушенности Элагабала, изумлявшей даже старых римлян, привычных к необузданности императоров.

Все как бы снова видели его с нарумяненным лицом, обрисованными, как у идола, бровями, в высокой желтой тиааре, усыпанной опалами, аметистами и топазами, в шелковом длинном одеянии, вытканном невиданными резкими рисунками, и с длинными висячими рукавами. Он, в священной позе божества, правил колесницей, запряженной шестнадца-

тью белыми конями, а над ним, на украшенном драгоценными камнями алтаре, возвышался, точно фаллос, Черный Камень с округленной вершиной. Нагие сирианки, со сладострастными движениями бедер, раскидывая руки и ноги, плясали под звуки струн вавилонского асора и трепетание цистр; ряды жрецов Солнца изображали притворный ужас пред мужским объятием; по улицам ездили золоченые колесницы с извилистыми вставками из серебра и слоновой кости, с горящими в курильницах благовониями и дымящимися в высоких вазах редкими винами; а город запрудили тысячи жителей Востока в развевающихся одеждах без поясов и в мягких сандалиях, открывающих нижнюю часть обнаженных и изнеженных ног, и с повязками из пурпурной кожи на подбородках. Толпа сенаторов и консулов шла пешком, распевая гимны началу жизни, Черному Камню, отныне изгонявшему своей конкретной символикой человекоподобных богов Запада. Живописность и торжественность события дополняло шествие скованных слонов, леопардов и львов; носилки на плечах черных рабов с волосами в золотых сетках; рэды, скользящие на четырех, расписанных изображениями колес, двухколесные тэнсы, быстроходные, запряженные необычайными животными: дикими ослами, джигетаями, зебрами и зебу; ярко убранные колесницы и в них, лежа на подушках шафранного цвета, женщины знатных римских родов, — их груди волнуются под льняными субукулами, не скрывающими белизны тела и трепещущих бедер, к

которым иногда прикасаются губами мужчины! Толпы жрецов Кибелы бьют в медные кимвалы и ударяют пальцами по барабанам, нанося себе удары в грудь или показывая на себе свежие следы оскотпления; жрецы Пана, опоясанные кожей, истязают ремнями женщин, убегающих с криками; египетские жрецы несут Анубиса, бога с собачьей головой; множество музыкантов, мужчин и женщин, играют на разных инструментах, то колоссальных, то маленьких: на высоких как колонны, самбуках, на псальтерионах, которые держат на голове, на тибиях с простыми и двойными отверстиями, на флейтах Пана, роговых и железных, на магадисах, тамбурах, эпигонионах, хеласах, форминксах, кифарах и разнообразных лирах, на палестинских небелах и ассирийских асорах, – все формы, все мелодии, все чары несутся в ритмах, которые как будто спорят между собой, но в конце концов сливаются в очаровательной гармонии. Наконец, торжественное шествие замыкается фиглярами и канатными плясунами; юношами сомнительного вида, смуглыми, с широкими бронзовыми кольцами в ушах, ведущими на цепи медведей, африканскими жожаками верблюдов. Бесконечные и шумные толпы, говорящие на всех языках, текут живой рекой по пестрым улицам вокруг Капитолия: англы, германцы, иберы и лигуры, итальянцы и либийцы, нумидийцы и эфиопы, даки, греки, филийцы и азиаты; они везде, они появляются отовсюду, опьяненные своей победой над Римом в свите Элагабала, чья колесница движется среди криков, подоб-

ных раскатам далекого грома.

Этот триумф все же сохранил внешние военные черты императорских выездов, настолько сильна была дисциплина, даже при политических разногласиях. Впереди, наподобие прежних триумфов, шли энеаторы, трубя в изогнутые рожки; за ними музыканты, играющие на трубах и бронзовых рогах, округленных наподобие больших полумесяцев; далее трубачи со спиральными букцинами. Затем жрецы в белых одеждах вели быков с позолоченными рогами и гирляндами цветов на головах; вместе со своими женами и детьми шли в цепях пленники, отказавшиеся признать нового властителя, и ликторы с обвитыми лаврами связками прутьев, а за ними следовали плясуны в золотых венках, одетые сатирами. Затем — вся армия.

Четко проходили отряды катафрактариев и сагиттариев, манипулы гастариев, триариев и принципов, а по краям шли центурионы с бронзовыми значками на груди, а во главе отрядов развевались желтые или пурпурные знамена; ауксиларии двигались тяжелым шагом, с обнаженными мечами, поднятыми щитами, за ними шли легкая и тяжелая конница в железных и медных шлемах, парфянские стрелки и критские пращники со звериными мордами над энергичными черноволосыми головами и, наконец, лагерная прислуга и рабы, погоняющие навьюченных мулов, верблюдов и слонов. Львов и леопардов со скованными ногами подгоняли ударами заостренных палок, и они ревели, делая нервные прыжки

из стороны в сторону.

И все это пронеслось в звуках инструментов, в шумных, несмолкающих кликах народа, приветствовавшего Элагабала, хотя многие его проклинали, среди ярости некоторых, наносивших удары гражданам, посмеявшим не склониться перед Черным Камнем, сверкавшим на солнце, лобзавшим своими лучами светлые острия пик, желтые борты щитов, синюю чешую брони, золотые древка знамен, врезавшихся смешением своих ярких красок в лазурь неба, неподвижного и строгого.

Весь день эта слава новой империи была видением перед глазами всех; точно бушующее море, она доходила до храмов, разбиваясь волнами у портиков и углах улиц, и с торжеством вошла на Капитолий; а под конец без всякого порядка наполнила форум вооруженной толпой мощных тел, дышащих запахом принесенного с собой разврата. Возмущенные римляне, враждебные Востоку, закрывали лица, а матроны спешили скрыться в домах. За попытку прогнать императора и остановить шествие Черного Камня преторианский префект Юлиан был зарезан; кровь пролилась уже, и теперь всякий думал, что настал конец Рима, побежденного теми, кого он до сих пор побеждал!

IX

В Велабрском квартале, под портиками, открылась ци-

рюльня; складные ставни отодвинулись к окрашенной красным воском стене, и стала видна внутренность лавки, с табуретами и скамьями: стальные зеркала на полках, шкафы с косметикой, банки с помадой и флаконы с эссенциями, вывезенными издалека, по углам куски тканей, в глубине изразцовая раковина, вокруг которой пузатые амфоры со свежей водой. За поворотом улицы виднелась крыша Большого Цирка между Авентинским и Палатинским холмами, возвышающаяся над домами, на которых сияли отблески, — точно гигантский шлем, придавленный копытом чудовищного коня.

Граждане волочили свои сандалии по мостовой, под немymi взглядами патрициев, гордо облаченных в тунику, украшенную парагаудом, с шелковым цветным шитьем на рукавах, плечах и у нижнего края; иностранцы, останавливающиеся в изумлении на каждом шагу, служили посмешищем школьников, которые подбрасывали для забавы свои пекалы и дощечки.

Утро окутало все розовато-серой пеленой, держащей сияние золотистой пыли в тяжелом воздухе. И некоторые из прохожих отряхивали свои тоги, вдыхая свежий воздух, веющий с Тибра, который виднелся в узких промежутках улиц, тягучий, медленный, густой.

Цирюльник, худой, низкорослый грек с плоским бритым лицом, засучил рукава туники и вымыл свою лавку, не жалея воды. Римлянин с гладкими на висках волосами, вздер-

нутым носом, бритыми усами и редко встречающейся острой бородкой, держал под мышкой длинный свиток с висячими красными шнурами и, смеясь, смотрел на цирюльника, открыв испорченные зубы. Он оперся о колонну портика и рассуждал громко:

– Ты недостаточно все очистил, Типохронос; тут есть пятна, которые могут опозорить твою лавку. И клиенты не захотят больше бриться под твоей греческой рукой. Поверь мне, заставь сверкать, сделай блестящими, как зеркала, потертые фрески твоего потолка.

Тогда цирюльник, откликнувшийся на свое тяжелое имя Типохроноса, покачал головой и пробормотал:

– Попробуй сам, потри своими кулаками, чтобы заблестело то, что уже слишком ярко сияло.

Собеседник ответил ему пронзительным голосом, быстро двигая языком, как металлической пластинкой:

– Знаешь, сегодня я хочу прочесть твоим клиентам мою поэму «Венера», и, хотя она уже закончена, я могу все-таки дать в ней место и тебе, описывая ее крылатого сына Амура, если только твоя лавка будет так же чиста, как вода твоих амфор.

– Ну, конечно, – сказал Типохронос. – Я готов на все, чтобы только быть тебе приятным, поэт!

И, постукивая по полу деревянными сандалиями, брызгавшими грязной водой на стены, он стал снова чистить лавку.

Наконец, он закончил работу, привел в порядок скамейки, установил зеркала на полках, выровнял амфоры, и лавка приняла веселый вид. Поэт Зописк опустился на кресло, на греческую кафедру с полукруглой спинкой, покрытой мягкими подушками и служившей предметом восхищения клиентов Типохроноса. Слабый луч солнца, играя пылинками, сверкнул на потолке и, отразившись от него, разбился на поверхности зеркал. По улице шли люди: одни, величественно завернувшись в белую тогу, в сопровождении печальных, облаченных в рубища спутников – богачи со своими клиентами; другие, по двое или группами, по три-четыре, одетые просто, как римские граждане, тихо беседовали между собой, бросая по сторонам быстрые взгляды; бешено мчались всадники в чешуйчатых доспехах, так же как и их кони, а вслед за ними гнались собаки.

– Атта!

– Зописк? Здравствуй! Привет Типохроносу, который ловко побреет меня, не правда ли?

Это был Атта, христианин Атта. Он уселся после любезного обращения к Зописку и Типохроносу. Последний вспенил гальское мыло в виде теста, приподнял подбородок клиента и энергично начал втирать пену в шероховатую кожу. Атта заговорил. Зописк небрежно оперся о спинку кафедры, подняв кверху обритую губу и острую бородку, и рассматривал рассеянno потолок лавки Типохроноса, бритва которого свистела, врезаясь своим скрипящим звуком в разговор.

– Видишь ли, Рим имеет основание быть довольным пришествием Элагабала, который есть Антонин. Хотя он и великий жрец Черного Камня, но примет в Капитолии и всех богов наравне со своим божеством, значение которого я понимаю. И хотя этот Черный Камень и не имеет человеческого лика, как Зевс или Дионис, и как все наши боги, но все же он, однако, прекрасно олицетворяет великое всё, Космос, в котором живет каждое существо. Не есть ли это начало жизни в форме активного мужского элемента? По крайней мере, так я понял моим слабым разумением. Правда, начало жизни, обожествленное таким образом, может привести к крайним увлечениям, к ошибкам, которые унижают жалкое человеческое существо, каким являемся мы все, – и ты, Зописк, и ты, Типохронос, и я, Атта, и многие другие! Именно так говорили вчера римляне, любящие своих богов и вовсе не любящие Черный Камень, хотя это отнюдь не означает вражды к императору! Я попрошу вас не искажать смысла моих слов и не приносить их к ногам Элагабала с лукавой мыслью. Вчера я рукоплескал при въезде императора, и его триумф вызвал у меня радостные слезы!

Он говорил медленно, осторожно и очень серьезно под белой пеной черного мыла, которую снимала бритва Типохроноса, со скрипением удалявшая волосы с его лица. Атта не признавался, что он христианин, но и не отрицал и, обходя этот вопрос молчанием, старался совместить все, когда говорил о богах. Но насмешливый Зописк погладил рукой, дер-

жавшей свиток, свою острую бородку и, подняв другую руку, щелкнул двумя пальцами.

– Да, ты плакал, христианин, – сказал он, – а один из твоих братьев бросился под колесницу Элагабала и был раздавлен!

Атта сделал движение. Типохронос обрезал ему худую щеку, и струйка крови потекла на его подбородок.

– Я – христианин! Ты преувеличиваешь, поэт; я только бедный друг учений Крейстоса, или, вернее, учений Востока, где он родился. Но в особенности не говори другим об этом: я люблю богов, а Крейстос бог, так же как ты – приятный поэт, а я – скромный гражданин.

Он болтал, смеялся, в глубине души недовольный тем, что Зописк знает, что он христианин, но не смеет ни признать, ни отвергнуть Крейстоса. Он ходил к Типохроносу для того, чтобы сойтись с его клиентами, из которых некоторые были очень богаты; один египтянин, недавно прибывший в Рим, казалось, слушал его со вниманием. И, если он был паразитом, то и Зописк также. Поэтому какая ему польза в том, что он признает веру в его присутствии, тогда как тот может повредить ему в глазах клиентов? Но Зописк рассердился и, воспользовавшись ожиданием Типохроноса с поднятой в руке бритвой, сказал:

– Ты боишься и лжешь, старый лицемер! Всякий знает, что ты присутствуешь на собраниях христиан. Почему же не признаться в этом мне, если я и так все знаю?

Атта принял таинственный вид. Он поджал губы, под его

глазами образовались тревожные складки, озабоченно оглядевшись по сторонам, он низко наклонился к Зописку и проговорил, в глубине души надеясь, что слова его станут известны, кому надо:

– Новый император будет мне за это благодарен, поверь мне! Ему нужны уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть все, что делается в его империи.

Типохронос осмелился вмешаться:

– Да, рассказывали о каком-то старом христианине, которого схватили солдаты, а затем отпустили по приказанию императора. Он наносил опасные оскорбления Элагабалу. Имя его мне неизвестно.

– Его зовут Магло, – сказал Зописк. – Это гельвет и так же, как и Атта, он христианин.

Он нападал на Атту, желая повредить его доброй славе, чтобы не иметь соперника среди клиентов цирюльника, ожидавших каждую минуту. Тогда Атта, заносчивый по отношению к бедным христианам, скромный и вкрадчивый перед знатными гражданами, быстро вскочил; широкий порез у ноздрей покрыл красным пятном его лицо:

– Магло! Магло!

Он повторял это имя с явной боязнью преследования, которое могло перейти с Магло на его худую и спесивую особу, чему немало способствовала его принадлежность к числу христиан. Он хотел узнать, почему Магло едва не убили, а затем отпустили, и Зописк рассказал ему об этом как оче-

видец происшествия. Как известный всюду популярный поэт, он бежал к Капитолию навстречу Элагабалу и нес в руках свиток, свою поэму «Венера», желая посвятить ее божественному. В это время старец, взобравшийся на трибуну, призывал на Рим проклятие божества и молил Крейстоса христиан стереть с лица Земли следы мерзостей Черного Камня. Стечение народа вокруг него привлекло Зописка и помешало ему добраться до Элагабала, который, конечно, охотно прочел бы его поэму. Но солдаты разогнали толпу ударами копий, мечей и поясных ремней и, схватив Магло, повлекли его к Элагабалу.

– Его отпустили, потому что он был христианином. Как говорят, новый примицерий преторианцев повлиял при этом на императора!

– Этот примицерий – патриций, прибывший с Востока, по имени Атиллий? – спросил Типохронос.

– Да, Атиллий; так называет его народ, – продолжал Зописк. – А вот как я узнал, что ты христианин, – сказал он Атте, который, слушая поэта, сделал кислую гримасу. – Магло проходил мимо меня и восклицал: «Я христианин, другие тоже христиане, но они не со мной. Я ненавижу Элагабала, хотя он не сделал мне никакого зла, но Заль любит его и Геэль также. Правда, Атта оспаривает меня и видит в Крейстосе единое лицо, а я – три лица. И никогда я не буду заодно с Аттой, так же как не буду с Геэлем и Залем! Мой Крейстос есть мой Крейстос, а не их!»

Трое вновь пришедших загородили вход в лавку. Типохронос оставил Атту, который пошел мыться к раковине, в глубине комнаты. Даже Зописк, голос которого сделался звонко торжественным, встал, все еще с рукописью в руке, и поцеловал край дипломса пришедших.

– Привет тебе, чужеземец с берегов Нила! И также вам, чье рождение видела Греция, мать муз!

Льстиво он унижался перед Амоном и греками, которые каждое утро заходили к Типохроносу, чтобы узнать события предыдущего дня. Очень скупые и платившие только для виду, греки довольствовались тем, что душили свои волнистые роскошные бороды. Этого не требовалось для круглого лоснящегося лица Амона, опущенного только редкими выющимися волосами, как у метиса от египтянки и эфиопа. И он стал жертвой безжалостной жадности цирюльника, который неутомимо покрывал его лицо благовониями, натирал всякими помадами и мазями, – и все это с большой торжественностью, которая нравилась Амону, хотя и дорого ему стоила.

Он приказал почистить себе ногти и натереть голову египетской эссенцией, очень довольный тем, что Зописк вертится возле него. Быстро оставив в покое Атту, который после бритья сидел на скамейке, положив одну ногу на другую, паразит Зописк усердствовал возле Амона, угадывая в нем меньшего скептика, чем Аристес и Никодем. В настоящий момент он инстинктивно желал хорошего обеда, который Амон мог предложить ему, что-нибудь вроде трапезы из

вареного щавеля, грибов, сардин и яиц, – и это надо было завоевать, прежде чем египтянин выйдет из рук цирюльника вымытым, надушенным и польщенным.

Зописк не думал больше об Атте; он даже презрительно повернулся к нему спиной, худой спиной иногда голодающего поэта. Он говорил Амону:

– Видишь ли, чужестранец, я хотел бы быть твоим рабом, ибо большую доброту я вижу в твоём лице и высокий ум в твоих глазах. О, почему у меня нет такого учителя, который указал бы мне путь муз и помог бы избежать терний!

Амон улыбался, поворачивая голову под руками Типохроноса и обнаруживая во всей широте и блеске своей луноливости доброту лица и ум глаз. Но Никодем, завладевший греческой кафедрой, сказал:

– Эй, поэт! Он может тебя купить в качестве раба, только он. Ты будешь прислуживать ему, натирать его эссенциями, и Типохронос потеряет своего клиента.

Цирюльник стал энергичнее натирать Амона, голова которого ушла в плечи, вызывая шелест его полосатого диплойса. По лицу египтянина прошла нервная судорога, – так проявлял Типохронос свое недовольство, огорчение тем, что Амон не будет больше его клиентом.

– Я предоставлю эту обязанность Типохроносу, – ответил Зописк заискивающим голосом, – но я буду читать ему поэму о Венере.

– Амон предпочитает гимны Серапису, – заявил Аристес,

высовывая язык перед зеркалом.

Тогда Атта встал, очень недовольный инициативой торговца чечевицей и обеспокоенный тем, что о нем забыли. Он чувствовал голод. Утро уже на исходе, и надо поймать какого-нибудь щедрого гражданина, который пригласил бы его на дневную трапезу, о какой мечтал и Зописк. И, если в кругу христиан, погруженный в апологетику, он казался свободным от всяких материальных потребностей, то совершенно иначе держал себя с политеистами, которых преследовал своей навязчивостью. Тихо дернув Амона за край диплояса, он сказал:

– У тебя отличный язык. Я отчасти врач, поверь мне! Я раньше учился лечить людей.

В действительности ничего подобного не было. Атта не был врачом, но что только бы он ни сделал, чтобы войти в милость такого иностранца, как Амон? Поглощенный мечтой о трапезе, он в этот момент забыл и о своей религии, и об ужасном Зале, и о христианах, собирающихся у Геэля. Но Зописк, одной рукой дергая свою острую бородку, а другой потрясая свитком, воскликнул:

– Серапис, Изиды, Тифон, Атотис, Апис, Суд-Ану, Фата, Кнеф, Гор, Ма, Ра, Нум, Зом, Невтис, Апепи! Я знаю всех божеств, Амон; я могу воспевать их на новый лад в асклепиадических, гликонических и фалелических стихах. Я могу вызвать их чередой под звуки тамбурахов, подобно жрецам этих богов, которых я всегда почитал!

Внезапно испугавшись, что Зописк завладеет Амоном, Атта поцеловал его сандалию из желтой кожи, скрепленную зеленой перевязью. И вступил в соревнование:

– Амон! Ты носишь имя единственного бога, превосходящего всех богов! Амон! Твое имя приносит тебе счастье, я это вижу по твоему цветущему лицу. Ты слуга Сераписа, но ты поклоняешься единственной мировой силе. Такова и моя вера! Я не только христианин, как скажет тебе этот поэт, но и поклонник Аммона с рогами овна, он есть также и Зевс, и Митра, и Ваал, и Явех. Мы сходимся с тобой.

Он надеялся угодить торговцу, признавшись в своем христианстве под маской божественного единства, так как если бы он высказался иначе, то Зописк, которого он оглядывал теперь с презрением философа и высшего учителя, не преминул бы обличить его и таким образом лишил бы обеда. Типохронос чистил ногти Амона и слегка щекотал ему, как это обыкновенно делают куртизанки, ладонь и промежутки между пальцами. Египтянин блаженствовал.

Перед лавкой собралась толпа. Юноши и молодые девушки, почти нагие, с непристойными движениями бедер, и облысевшие индивидуумы, не твердые на ногах, с темными кругами под глазами от изнуряющих пороков, толкались у входа, дерзко разглядывая иностранцев и делая им знаки рукой, как будто зазывая для прелюбодеяния. Типохронос закричал на них, они умчались с потоком скверной брани, но Атта, добродетельный в глазах всех христиан, кроме Залы,

успел свирепо уцепиться за ногу одного из этой стаи.

Пока греки в свою очередь проходили через руки цирюльника, Зописк развернул свой манускрипт перед изумленным Амоном. В тесной лавке появились другие клиенты. На одних были белые тоги, один конец которых был наброшен на негодующие головы, а другой стягивал стан, покрытый испариной; туники других опоясывались выше толстых животов, и в пышных складках одежды хранились мелкие принадлежности личного обихода: ассы и квинкунксы, свертки ниток и наперстки, даже маленькие оловянные зеркала с короткой ручкой. Пришли двое домовладельцев с Палатинского холма, богатый банкир, владелец, как говорили, тысяч рабов; несколько торговцев квартала и фабрикант лампад, все давние клиенты Типохроноса, приходившие не только бриться, причесываться, душиться и чистить ногти, но также узнавать новости, так как эта лавка служила местом свидания праздных болтунов квартала.

Все жестикулировали и говорили очень оживленно, складки их туник и тог колыхались:

– Это конец Рима, это смерть наших богов! Римский народ не потерпит такого кощунства. Перенести наши священные Щиты – Палладиум и огонь Весты в храм сирийца! Рим не переживет этого!

Они кричали, закрывая лица, показывая кулаки, толкаясь о стены или наступая друг на друга, как бараны, с озлобленными глазами, приподнимаясь на носках своих плоских сан-

дали и беспомощно опуская руки. Зописк и Атта подошли к этой толпе и начали сильно пихать локтями одних и судорожно дергать за края одежды других. Амон, разинув рот, силился понять что-либо в этой кутерьме, а греки явно получали удовольствие. Они забавлялись, восхищаясь движениями и криками и посмеиваясь в свои длинные и волнистые агатовые бороды.

Как бы для усугубления негодования клиентов, улица наполнилась людьми: слышались глухие раскаты барабанов и тимпанов, рев животных, резкие крики, топот людских ног и лошадиных копыт, — а над всем господствовали острые звуки железных рожков, к которым присоединялся варварский гимн в беспорядочном ритме, и зеленые, желтые краски улицы, плохо сочетающиеся под латинским небом. Медленно двигалась в светлых лучах солнца процессия, и во главе ее колесница Элагабала, восседающего на золотом троне, положившего ноги на золотую скамейку: он был весь в золоте, раскрашенный, нарумяненный, пышно увенчанный тиарой, величественный, как верховный жрец. А над всеми господствовал Черный Конус.

X

Процессия медленно прошла пред глазами ошеломленных клиентов Типохроноса. За увенчанными митрами жрецами Солнца шли салийцы в вышитых туниках и в то-

гах-претекстах, с медными поясами и в остроконечных шапках; держа в правых руках мечи и повесив на них священные щиты, они плясали пиррическую пляску. Понтифики в окаймленных пурпуром одеждах и войлочных головных уборах потрясали легкими жезлами, на конце которых был апекс, клочок шерсти. Они окружали изукрашенную слоновой костью и серебром колесницу; на ней был священный огонь, хранимый в бронзовом сосуде, и Палладиум – прекрасная большая статуя Минервы в шлеме, с бирюзой в глазных впадинах, со шкурой козы Амальтеи на груди, с копьем и щитом в руках; в середине щита – голова Горгоны со змеевидными волосами.

Были также и посвященные Пана, и галлы Кибелы вместе с жрецами Изиды, которая могла объединить в своем лице всех богинь, так как многогрудая, она олицетворяла природу и ее силы; затем авгуры в трабеях с багряными полосами, узнававшие будущее по полету птиц; аруспиции, предвещающие судьбу по внутренностям убитых животных; септемвиры, устраивавшие публичные празднества, согласно священным ритуалам; солдаты, поклонявшиеся умершим императорам; наконец, последователи всевозможных религий, соперничавших в Риме. Тут же вели украшенных гирляндами из листьев быков, баранов и овец, которые с мычаньем и блеяньем весело шли на заклание.

Вслед за Элагабалом, медленно и сладострастно покачиваясь, двигались несомые шестнадцатью рабами широкие

носилки, в которых возлежали две женщины. Разноцветные ткани и полосатые завесы, украшавшие эту лектику, волновались в дыме благовоний, курившихся в огромных вазах на четырех углах носилок. Процессию замыкали преторианцы, сиявшие золотом и ударявшие золотыми копьями о золотые щиты; всадники, много всадников разных родов войск; сагиттариис с высоко поднятыми луками; катафрактариис, покрытые броней из подвижной чешуи; skutarii, потрясавшие продолговатыми щитами; африканские варвары, сидевшие на конях без чепраков и стремян под сенью вертикальных знамен, увенчанных снопом сена, рукой или животным, петухом, кабаном, орлом или волчицей. Шествие сопровождала собравшаяся со всех сторон толпа, шумная, необъятная и все более растущая.

– Ты узнаешь их? – внезапно спросил египтянин Никодема. – Узнаешь ты Атиллия и его вольноотпущенника?

И, желая все видеть, нисколько не возмущаясь кощунством Элагабала, он собрался покинуть греков, цирюльника и его клиентов. Но Атта и Зописк после минутного колебания схватили его за край диплойса.

– Ты не знаешь Рима; я провожу тебя!

– Я буду твоим защитником, проводником и опорой!

Они кричали среди шумных звуков песен, инструментов, человеческих голосов, сливавшихся с ревом железных труб и стремительными мелодиями лир, цистр, тимпанов и сириноксов. Огромная толпа, точно все покрывающее море,

увлекла их к храму Солнца, на Палатинском холме, куда Элагабал задумал перенести священные предметы, отнятые у римского культа, до которых в течение веков не смел никто коснуться! Толпа уносила с собой египтянина и его спутников. Пред ними были сплошь спины и спины рабов и плечеев, а за ними груди, сдавленные, в свою очередь, плечами; и все двигались, изредка видя только острия копий, шлемы всадников и головы коней, останавливаясь посреди форумов, окаймленных высокими домами, из окон и с крыш которых неслись клики людей, в то время как Элагабал на своем сверкающем троне решительно являл всем святыню конуса жизни.

Амон пожелал увидеть вблизи Мадеха и Атиллия, и тогда Атта и Зописк, взяв его под руки, в несколько минут пробились сквозь толпу, которая отвечала им ударами, и нагнали шествие. Теперь можно было лучше видеть Атиллия во главе отряда катафрактариев, покрытых чешуйчатой броней, так же как и их лошади, а позади их Мадеха, верхом на черном коне. С того расстояния, на каком Амон и его спутники наблюдали вооружение Атиллия, его шлем и синий развевающийся плащ, и желтую с белым митру Мадеха, золотые украшения у ворота и блеск его ниспадавшей одежды, с яркими полосами и необычными рисунками, – все это сливалось в ослепительном блеске.

Рядом с египтянином бежал человек из народа, краснолицая голова которого с вьющимися волосами беспокойно

дергалась то вперед, то назад. Иногда он обгонял его, углублялся в толпу, опустив голову и заложив руки назад, затем возвращался, приподымался на концах обутых в грубые сандалии ног и, прикладывая руку к глазам, кричал непонятные слова. Затем он останавливался, как бы потеряв энергию, в испарине и ознобе, потом снова углублялся в теснившую его толпу. Очевидно, он тоже хотел приблизиться к одному из участников церемонии, видеть его, говорить с кем-то из следовавших за Элагабалом. Этот краснолицый человек сильно толкнул Атту, который, узнав его, попытался увести Амона подальше. Но тот его немедленно окликнул.

– Брат мой, Атта, зачем ты избегаешь меня?

То был Геэль, помятый в толпе и усталый; он старался привлечь к себе Атту, боясь в то же время, чтобы тот не потерял Амона, увлекаемого в другую сторону Зописком.

– Я не избегаю тебя, Геэль! Напротив, напротив!

И он ловко увернулся от Геэля, который простодушно сказал:

– В свите императора есть человек моего племени, друг моего детства, который будет нашим защитником, если язычники пожелают нас преследовать. Мы положимся на него. Император оставит нас в мире и даже поставит изображение Крейстоса рядом со своим Черным Камнем, который для него есть символ жизни.

– Проклятие! – крикнул Атта, поднимая руки и приближая к смущенному Геэлю свой выдающийся подбородок и

лицо, искаженное суровой складкой у челюстей. Для Геэля, как друга Заля, пришедшего также с Востока, было вполне допустимым поклонение Крейстосу по соседству с Черным Камнем, которому поклонялся Мадех и которого обожествлял Элагабал. Но Атта продолжал возмущаться, однако без особой опасности лишиться обеда, так как его негодование, заглушаемое шумом толпы, не долетало до Амона и Зописка. Говоря все увереннее, он принял горестный и одновременно угрожающий тон:

– Зачем ты следуешь за этим шествием нечестия?

Он обращался к Геэлю, как и ко всякому простому христианину, свысока. Для Геэля, видевшего Атту лишь на собраниях, где тот толковал трудные места из учения Крейстоса как суровый и благочестивый догматик, другая сторона его жизни оставалась тайной. Скромные бедняки, а к ним принадлежал и Геэль, едва осмеливались заговорить со своим строгим наставником. Однако этот вопрос настолько не вязался здесь с присутствием самого Атты, что Геэль твердо ответил:

– Но и ты также следуешь за шествием. Я хочу поговорить с Мадехом, с моим юным братом Мадехом, которого я видел только один раз со времени его приезда в Рим вместе с Элагабалом.

Атта сделал негодующее движение и неосторожно отпустил руку Амона, которого окончательно увлек Зописк. Их разделила волна грудей, волна плеч. Оба христианина, остав-

шись рядом, посмотрели друг на друга почти с ненавистью, легко возникающей между богатым и бедным. А в это время в толпе на миг показался свиток с красными висячими шнурами, которым Зописк махал над головами в знак своего откровенного торжества.

Как хотел бы Геэль попросить Мадеха остановиться и взять его с собой! Но все время раздавалось пение жрецов, топот лошадей, восклицания толпы, усиливающиеся звуки инструментов: пронзительных флейт, волнующихся арф, ударяемых кривыми палочками тамбуринов, звенящих цистр, трескучих кротал, – звуки, сопровождавшие движения обнаженных рук и грудей! Продолжалось непоколебимое шествие Элагабала; его лицо, ровно раскрашенное, в золоте, киновари и белилах было похоже на лик идола, с тонкими чертами, будто выбитыми на медали; прославляемый Черный Конус был подобен фаллосу, превознесенному в безмерном поклонении! Этот Конус господствовал над всем, гордо и властно врезаясь своими очертаниями в голубое небо и призывая толпу к поклонению культу реальной жизни.

И если бы даже Геэль крикнул, то Мадех не услышал бы его! И не только из-за шума толпы! А и потому еще, что Мадех был счастлив, шествуя рядом с Атиллией, возлежавшей рядом с Сэмиас в ее лектике, которая останавливалась через каждые сто шагов для смены шестнадцати рабов новыми. Тогда глаза Мадеха встречались с мечтательными глаза-

ми Атиллии, оттененными нежной краской лица и черными линиями бровей. Его странно взволнованный взгляд скользил от ее глаз к груди, которую красиво окаймляла золотистая цикла, прозрачная, как искрящаяся радугой вода; затем останавливался на белом пышном бедре, перехваченном браслетами с драгоценными геммами, нескромно вырисовывавшимся сквозь разрез ее циклы. И долго еще ему виделся этот сладкий, так странно протекавший час, и, смутно вспоминая церемониальные подробности, он беспокойно признался себе, что был очарован только ею. Только она одна наполняла его мысль!

XI

Безумная мечта Атиллия, замена культом Черного Камня всех богов, населяющих небеса других народов, стала осуществляться с тех пор, как Элагабал назначил примицерием этого властителя Мадеха и брата Атиллия. Культ жизни через обожание Черного Конуса, смешение полов, или еще хуже, однополое смешение, приняло определенные формы после таинственных бесед Атиллия и Элагабала в одной из зал Дворца цезарей, где обитал теперь примицерий со своим вольноотпущенником, чтобы всегда быть на службе императора. И об этих беседах говорили с некоторым ужасом, предвидя общий переворот в религии империи, окончательное обожествление единого Черного Камня, которого

так страшились, и, наконец, позорное торжество Востока над Западом, торжество обычаев, противных непреложным законам жизни, ныне отклоненной от своего предназначения. И Атиллий поражал Рим и всех тех, кто наполнял дворец, — в белых и пурпурных тогах и паллиумах, широких одеждах и высоких, в виде конуса прическах, митрах, усыпанных драгоценными камнями. Он возвысил себя над всеми, он удивлял всех неподвижностью губ и безразличным выражением глаз, — хотя казалось, в нем горит сильная душа, — и в особенности бледным лицом, едва обросшим короткой, острой бородкой с отблеском темного золота, и запечатленным эгоизмом великой любви, неизвестно к кому: всецело ли к Мадеху, чья грациозная тень постоянно следовала за ним, или отчасти к человечеству, которое он хотел бы изменить в интимных влечениях.

Много также говорили о Сэмиас, матери Элагабала, высококорослой, прекрасной, но слабой властительнице империи, дарившей свое внимание евнухам и возницам сына, его консулам, трибунам, патрициям, префектам и военачальникам. Когда она проходила по императорским залам, по прекрасным, окруженным колоннами вестибюлям, по кубикулам, в которые свет проникал издалека, по атриям, садам с рядами деревьев, неподвижных под чистым, спокойным и глубоким латинским небом; когда в сопровождении свиты женщин, в свободных фиолетовых голубоватых столах она проходила мимо рядов гладиаторов и преторианцев, то как будто про-

носились веяние ужаса: люди отступали и преклоняли колени. И эротическая наследственность этой матери, наполнившей мир преступлениями, расцвела теперь, точно алый цветок с кровавыми лепестками, в неистовых приключениях, в нервной разнузданности, как будто обряд жизни, выражаемый поклонением Черному Камню и свободой полов, нашел свою жрицу в лице Сэмиас, ненасытной в удовольствиях и опьяненной жадой власти. Рассказывали о ее внезапных исчезновениях вместе со своими женщинами и даже о страшных находках – о прохожих, встреченных в пустынных улицах и убитых ею после того, как она им отдавалась.

Однажды, когда Атиллий заперся с императором, а Мадех ждал его в перистиле, украшенном огромными канделябрами из массивного серебра, где молодой и красивый вольноотпущенник Гиероклес играл в кости с Протогеном и Гордием, возницами, черная старуха, эфиопка, взяла Мадеха за руку и отвела через покои, озаренные голубым сиянием дня, в одну из кубикул гинекея, доступного только мужчинам, посвященным, как и он, однополой любви. Молодая девушка сидела на изукрашенном черепаховом стуле, в то время как ее причесывали и раскрашивали.

Атиллия!

Мадеха охватила легкая дрожь, зародившаяся в глубине его существа. Одна рабыня погружала густые волосы девушки в желтую эссенцию, в шафранную воду; другая покрывала розовой пастой ее лицо, которое оживлялось, как утренняя

заря. Третья держала перед ней стальное зеркало с ручкой, изображавшей нагую Венеру, ноги которой переходили в листья аканта. Низкий столик, на трапезофоре, — подставке, — с шеями различных животных, был установлен синими банками с помадой, коробками с золотой и серебряной пудрой для волос; там же лежали пурпурные и фиолетовые ленты и еще целый арсенал женщины, посвящающей себя сладострастию: щипцы, ножницы, гребни, фиксисы, алавастры с благовониями.

Отдернутая завеса открывала в глубине другого помещения, в полусвете, мраморную ванну, наполненную водой молочного цвета.

Мадех не знал, что сказать, и ждал, чтобы с ним заговорили. Атилия смотрела на него с вызовом, и в фиолетовом блеске ее глаз играл инстинкт молодой самки, готовой отдаться самцу. Со дня встречи в палатке Элагабала, казалось ему, она стала выше и тоньше, а лицо красивее, оттененное кругами в уголках глаз, с тонким подвижным носиком с розовыми ноздрями. Он угадывал под густой краской ту же бледность, как и у Атилия.

— Я позвала тебя, чтобы ты меня видел, — говорила она, вперив в него взгляд. Она находила приятной его наружность, слегка женственную, с той восточной негой, которую так хорошо оттеняла его желтая с белым митра, со сверкающими аметистами, его повязка, кайма с филигранными украшениями на его одежде. В особенности казалась при-

влекательной странная змеистая легкость его почти пляшущей походки и движения его бедер, менее заметные, чем у других жрецов Солнца, но все же вызывающие странные мысли. Она тихо смеялась, обнажая правильный ряд зубов и приоткрывая розовый рот, похожий на распускающийся цветок. Она обращалась с Мадехом, как с ребенком, перед которым не надо таиться.

Прислужница причесала в форме шлема ее волосы, отличавшие цветом желтой бронзы и матового золота. Затем она окружила конусообразный верх прически нитью жемчужин. Другие женщины гладили ее обнаженные до плеч руки пемзой, чтобы придать белизну ее коже и уничтожить нежный пух. Одна из служанок вдела в ее уши тяжелые золотые украшения со сверкающими алмазами, окруженными сардониками. Атиллия встала и, пока прислужницы несли ей фиолетовую циклу с пурпурными каймами, сбросила с себя нижнюю одежду; и Мадех увидел ее полностью обнаженной. Но она не казалась смущенной.

Вернулись служанки и начали ее одевать. Он любовался трепетом ее юных грудей, округлившихся под стягивающим их поясом, томной медлительностью движений и легким покачиванием бедер, говорящем о страстном желании. Но тут, громко рассмеявшись, Атиллия вдруг велела ему выйти. Этот смех несколько не обидел Мадеха – он звенел в нем, как чистые звуки золотой цистры. И это было все, что сохранила память юноши.

XII

Мадех гарцевал рядом с носилками, стараясь уловить звук голоса Атиллии, когда их глаза встречались. Она и Сэмиас лежали на подушках, сквозь полуоткрытые циклы видны были их голые груди и бедра, на головах – смелые конические прически, украшенные жемчугами и драгоценными камнями. Иногда они скрывались за колеблющимися плечами носильщиков, затем снова появлялись, и сквозь дым благовоний, струившийся с четырех углов носилок, между развевающимися завесами, они казались сладострастным видением.

Мадех очень любил Атиллию в такие минуты, его влекло к ней еще неясное в его почти бесполом сознании эфеба чувство, но в нем, уже с детства посвященном Солнцу, Черному Камню и мужской любви, не рождалось ни ревности, ни желания. Он был почти того же пола, что и Атиллия, так как, подобно женщине, принадлежал мужчине.

Весь поглощенный радостью, что он рядом с нею, он ничего не слышал и ни на что не обращал внимания. Один раз, неожиданно, Геэль крикнул:

– Мадех! Брат! Мадех!

Но этот голос затерялся в шуме шествия. Процессия поднялась теперь на улицы Палатинского холма; отсюда видны были бело-желтый фасад форума, плоские высоты Аркса, крепость Капитолия, куда по широкой лестнице восхо-

дил народ; множество храмов и зданий, арок, симметрично воздвигнутых одна против другой, портиков, под которыми оживленно бродили люди, базилик и, наконец, Грекостасис, где принимали посланников чужих стран, в основном греческих послов. Форум, точно муравейник, был полон движения людей в тогах, туниках, паллиумах, диплойсах, с обнаженными головами или в конических колпаках, шляпах с опущенными полями, египетских калантиках, в турулах из ярких тканей, похожих на чалмы, в тэниях, поддерживающих возле лба дубовые ветви или ленты. Эти люди снизу следили за процессией, подняв головы, широко раскрыв глаза, выставив животы, раздвинув ноги и вытянувшись, чтобы лучше видеть, как шествие разворачивается и исчезает за грудой домов квартала. И в последнее мгновение пестрый блеск этой процессии, увенчанный тиарой Элагабала, показался им дивным орнаментом, украсившим кусочек синего неба.

В середине быстро наполнившейся людьми площади возвышался белый, круглый с колоннами храм Солнца с кровлей, обнесенной украшенными фризами. Геэль и Атта видели, как поднялись по ступеням император, Сэмиас и Атилия, жрецы Солнца и божеств всего мира, носители священных предметов, Атилий и Мадех, затем жертвенные животные, гонимые солдатами; а кони, рабы и множество народа толпились на площади, наполняя все углы.

– Я не увижу его, я не буду с ним говорить, – проговорил

Геэль.

Атта многозначительно сказал ему:

– Будь терпелив; терпение – одна из добродетелей Крей-стоса.

А сам он теперь беспокойно смотрел вокруг, надеясь увидеть Амона и Зописка; солнце в это время стояло высоко в небе, Атту мучил голод, а обед был безвозвратно упущен!

В храме звучал высокий юношеский голос, сопровождаемый медленным ритмом пения жрецов, как бы вызывающих к Черному Камню. Незнакомый язык красочными переливами гимнов таинственно молил о безумной любви, приводя в ужас праведных римлян, поклонников западных богов. Затем раздался жуткий рев быков, баранов, овец, отданных на заклание. И над шумом страшной бойни и кошмаром крови победно несясь свежий, чистый, кристальный, полный чарующих оттенков голос Элагабала, кому поклонялись, как живому богу Солнца.

Открылись бронзовые двери, украшенные золотыми гвоздями, кровь потекла по ступеням змеящимися струями, обливая землю, – и все отшатнулись назад. А внутри – огни факелов и сверкание митр; и под тканями балдахина, поддерживаемого наклоненными копьями, Элагабал ниспосылал благословение Черного Конуса; на нем было пурпурное одеяние с широкими рукавами, отягченными рубинами, хризолитами, аметистами, топазами, изумрудами и жемчугами, с тяжелыми складками облачений, падавших на его бе-

лые ноги.

За ним – Сэмиас и Атиллия сидели на складных греческих окладах; вокруг, в глубине стенных ниш, плясали жрецы под звуки маленькой флейты и низкого барабана; посредине, на особом возвышении, издыхали животные.

Настала великая тишина! А вскоре Элагабал со своего сияющего трона дал знак к возвращению и исчез в блеске драгоценностей. И под палящими лучами, заливавшими улицы своим белым светом, началось обратное движение людей и коней, шествие жрецов, преторианцев и музыкантов, горделивых в своих одеждах и вооружениях, шествие всей пышной свиты, среди которой покачивалась, как широкая ладья, лектика Сэмиас и Атилии, сопровождаемая Мадехом, и во главе шествия – Атилий, впереди отряда катафрактариев, с мечом в руке.

Мадех снова проехал мимо Геэля; даже черный конь его фыркнул над курчавой головой гончара, который окликнул вольноотпущенника. Но тщетно. Почему Мадех забыл его? И, повернувшись к Атте, смущенный Геэль воскликнул:

– Что я сделал ему, моему брату Мадеху, что он не хочет слышать меня?

Атта не ответил. Он исчез, увидев в толпе любопытных костлявые плечи, похожие на плечи Зописка. И, действительно, Зописк был в нескольких шагах. Он не отпуская Амона, цепляясь за него и рассказывая ему про таверну на Эсквилинском холме, где египтянин найдет трапезу, – теперь

уже несомненно, — из вареного щавеля, грибов, сардин и яиц, а также жареную рыбу, сочные лепешки, хорошо приправленное сало, изысканные вина и даже красивых юношей, которых воспевали знакомые ему поэты. Амон был голоден и чувствовал себя потерянным в Риме, с которым еще не успел ознакомиться со дня своего приезда. И он кивал головой в знак согласия, когда вдруг с необычайным проворством раздвинув толпу, Атта схватил его за край диплойса.

— Идем обедать, я поведу тебя к Капитолию. Нам дадут щавеля, капусты, грибов, сардин и яиц!

Но Зописк, разъяренный, ворчал, таща Амона за локоть:

— Пойдем со мной на Эсквилин! Рыба, оладьи, сало, вино, подслащенное медом!

— Там будет блудница Антистия. Пойдем! — уговаривал Атта.

— Красивые мальчики. За мной! — в свою очередь звал Зописк.

Так, захлеб перебивая друг друга, они расписывали ему прелести предстоящего обеда, надеясь и сами воспользоваться ими. Но Амон, забавляясь, только оглядывал их поочередно, — он не совсем хорошо понимал их, но как добрый человек решил никого не обижать:

— Я пойду за вами! Ведите меня в таверну, которая ближе к моему дому!

Тогда Атта и Зописк смягчились. Среди расходившейся толпы они, как добрые друзья, взяли его каждый под руку, в

то время как Геэль, оставшись один, лепетал горестно:

– Что я сделал ему, моему брату Мадеху, что он не хочет слушать меня? Я попросил бы его, чтобы император поклонялся Крейстосу, а не Черному Камню, и я стал бы рассказывать ему про берега Евфрата, где мы жили вместе!

XIII

Закутанный в полосатый диплойс, облежавший его толстую фигуру, и в калантике, ниспадавшей ему на уши, как два широких листа, Амон медленно спускался по Субуре, посещаемой рабами и гостями проституток, кровати которых, сделанные из циновок, виднелись через плохо задвинутые занавеси. Круто спускаясь к Новой улице, Сурбура скрывалась за Vicus Tuscus против форума и оставляла в стороне дворцы, термы, сады и арки, всегда оживленные толпой, в которой встречались жестикулируя и крича, нумидийцы, евреи, индусы, кельты, иберийцы, – словом, человеческие существа трех материков.

Амон шел издалека, из Эсквилинского квартала, куда завел его Зописк, подружившийся с ним со дня церемонии в храме Солнца, месяц тому назад. В этот день он разрешил себе небольшой загул вместе с поэтом, тонкий обед в хорошей таверне, где им подали осетра и миногу, миндальное печенье, нежную ионийскую куропатку, – настоящую редкость, – вина из Альбы, дистиллированные посредством голубиных

яиц, и вина с острова Лесбоса на Эгейском море. Зописк напился и его отнесли полумертвым в его жилище, а Амон ушел один, унося в голове винные пары, а в желудке тяжесть кушаний.

Он ни о чем не думал и только бессознательно шел вперед, с тайным желанием, чтобы его позвала какая-нибудь блудница, хотя он и стыдился этой слабости.

В дни своей бедной молодости он привык удовлетворяться немногим, но теперь, когда зрелый возраст принес с собой седину в волосах и ожирение тела, он не был расположен отдаваться первой попавшейся женщине. И что это были за женщины! Римлянки, страдающие бледной немочью, итальянки с темными кругами под глазами, чужестранки с плоской грудью, со зловонной кожей и ртом и с безобразным задом, негритянки со свирепыми лицами, предлагающие грязные наслаждения, от которых он заранее отказывался. Женщины звали его, но он не слушал их. И почти бессознательно он по-прежнему грезил о молоденькой египтянке, на которой он женится и которая окружит его толпой черноволосых детей, похожих на него. И эта смутная мечта была достаточно упорна, чтобы сделать его нерешительным.

С трудом связывая мысли, он говорил себе, что хватит с него Рима и что пора ему возвращаться в Александрию. Конечно, Зописк человек приятный, но он не стоит последнего водоноса в Александрии; и кроме того, поэт слишком любит хорошо покушать в лучших тавернах Рима за счет Амона,

который щедро платил за все издержки Зописка, настоящего паразита, хотя и осененного музами, такого же паразита, как и Атта, который каждое утро при пробуждении Амона говорил ему о превосходстве египетских богов над римскими и о неотразимом могуществе таинственной силы Крейстоса. Амон признавался себе, что не всегда понимал глубокие мысли Атты, так же, как и поэмы Зописка, превозносившие богов: Зому, Нума и Апепи. Да и мешок с золотыми солидами, привезенный в Рим в том сундуке, на который заглядывался на Аппиевой дороге похожий на мумию Иефуннэ, заметно худел.

Шагов через сто за ним шел человек, который иногда начинал громко кричать, вызывая вокруг себя смятение. Амон оборачивался и видел на подъеме улицы широкую шляпу из красного войлока и развевающуюся белую бороду, коричневый плащ, голые ступни и угрожающие взмахи посоха. Как только раздавался крик, сейчас же собиралась толпа; на порогах темных лавок появлялись люди, из окон, на которых сушились заплатанные тоги и туники, высывались головы; и поднимался шум, яростный собачий лай и визг детей. Затем сборище рассеивалось, и одиноко продолжала двигаться по Субуре широкая шляпа, точно плывущий красный корабль, развевающаяся борода, коричневый плащ и голые ноги; и угрожающие взмахи палки отгоняли людей, появлявшихся из соседних улиц.

Эти упорные крики, которые не были понятны и другим

людям, начинали несколько беспокоить Амона. Станный человек следовал за ним с Эсквилинского холма, нарушая его покой и беседу с самим собой после хорошей выпивки, обеда и стихов Зописка, и он подумал, что это было, вероятно, наваждение какого-нибудь таинственного божества Атты, о чем его накануне предупреждали Аристес и Никодем:

– На некоторых улицах Рима появляются странные существа и преследуют иностранцев, чтобы отгрызть у них кусок мяса из плеча.

И он машинально поводил плечами, взглядывая на них тайком, под страхом этого предупреждения. Особенно его пугала палка. В вечернем свете эта палка отбрасывала гигантскую тень, которая перерезала фасады зданий и лизала темным языком крыши лавок. Тень то касалась его ног, то опускалась ему на голову и, казалось, хотела грозно остановить его, чтобы дать возможность странному человеку догнать его и вырвать кусок мяса из плеча.

Случайно в одном из домов Амон увидел приоткрытую дверь, за ней просматривалась узкая комната проститутки: потертые и блестящие циновки, в углу амфора с водой для посетителей, ручное зеркало, несколько банок с благовониями на столике, а на стенах испорченные сыростью фрески, изображавшие нагих амуров и фавнесс, преследуемых яростно возбужденными фавнами. Амон колебался, дрожь волнения и страсти охватила его. Но стоявшая на пороге молодая женщина с кольцами в ушах, с дрожащими на нерв-

ной матовой груди ожерельями тихо позвала его и, чтобы завлечь, вышла на улицу и взяла его за руку. Едва она успела ввести его к себе, как длинная, точно мачта, тень палки упала на него в момент его крайнего смущения.

Куртизанка быстро закрыла ставни своей кубикеры, куда проникал теперь только слабый свет с внутреннего двора. В сером полумраке Амон, не зная, что сказать, спросил ее имя.

– Кордула, к твоим услугам!

И, обняв его, она потянула его на ложе из циновки, – общее ложе ее любовников, – с горячей страстностью, встревожившей Амона. Но в это время снаружи поднялся страшный шум, как будто целая толпа собралась взять приступом комнату Кордулы; глухой удар, точно удар топора в ворота крепости, раскрыл ставни. Любовники поднялись, ослепленные.

– Мерзость и отвращение! Я давно слежу за тобой, грешница, и пришел вовремя, чтобы помешать блудодеянию!

Вслед за ударами палки в отверстии показалась громадная шляпа, развевающаяся борода, опоясанный веревкой коричневый плащ, а позади росла насмешливая толпа, заполняя улицу, всю красную, как медь, в мареве наступившего вечера.

– Магло, Магло!

То был старый гильотинщик, на которого смущенная Кордула указала Амону, увидевшему его впервые. Египтянин вздрогнул! Внезапно вспомнив страх таинственного наваждения, все ужасы о котором ему твердили Аристес и Никодем, слу-

чайный гость Кордулы завернулся в свой диплойс, открыл дверь в глубине комнаты и скрылся в проходе. Но сейчас же за ним ринулась и толпа, не зная, в чем дело, может быть, принимая Амона за беглого раба или вора с той стороны Тибра, где обыкновенно скрывалось от властей много преступников, или же за гнусного еврея, похитителя маленьких детей с целью их изжарить, словом, за нечто ужасное и чудовищное. И тотчас же руки опустились ему на плечи, кулак мясника лег на его лицо, среди окруживших его голых ног заметалась собака и дернула за полу его диплойса, а дети, едва прикрытые одной субукулой, вцепились в кожаный ременный пояс его нижней туники. Раздались крики:

– К эдилу!

– Нет! В Тибр его!

В бешено кричащей толпе осаждающих началась давка. Здесь были исключительно обитатели квартала: владельцы мясных и съестных лавок, сапожники, кузнецы, работающие дни напролет на своих низких наковальнях, булочники и пирожники, процветавшие благодаря обжорству римского населения, ткачи и суконщики, изготавливающие тоги и туники, портные, которых можно было признать по длинным иглам, вколотым в верхнюю одежду. Они не чувствовали никакого нерасположения к Кордуле, промышлявшей среди них своим ремеслом наравне с другими женщинами, которых все хорошо знали и которые насчитывали многих из этой толпы в числе своих случайных любовников; но все негодова-

ли на Амона, которого видели впервые и подозревали в каком-то неизвестном преступлении. Вдруг чей-то голос пере-силлил остальные. Огромная палка Магло описала в воздухе линию, причем ее как бы недоумевающая тень удлинилась бесконечно, заколебалась и легла на дома, красные в лучах заходящего солнца.

– Братья, послушайте! Братья во Крейстосе! Успокойтесь!

И его палка двигалась, а тень ее перерезала улицу, то укорачиваясь, то извиваясь, коварно скользя или взбираясь по кровельным желобам, охватывая кругами весь квартал. На одном из концов улицы умирало огненное солнце, пурпурное, как дно раскаленного горна, истекавшее алой краской, которая медленно принимала зеленоватые оттенки спокойного, всепоглощающего моря. Магло стоял на тумбе перед жилищем Кордулы, сняв шляпу и подняв к небу длинное худое лицо, поглощенное до самых глаз бородой. А Кордула сидела на постели, опустив изящную тонкую головку на руку, на которой сверкал браслет, тихо потухавший в тени.

– Братья! Когда апостолы, когда Петр, Павел и Иаков, переплыв море, пришли в Рим, они увидели, что здесь процветает порок, что разврат и блуд затмили божественность Крейстоса. И тогда они пожелали, чтобы все народы пошли по истинному пути.

Толпа слушала с большим вниманием слова Магло. Торговцы повернули в его сторону свои важные носы, а мастера прятали свои благоразумные подбородки в складках тог, как

будто каждый из них проникался глубокой печалью перед той картиной порока, разврата и блуда, которую гелльвет собирался раскрыть перед ними. Но кто-то безжалостно крикнул, махая в воздухе голой рукой:

– Ты христианин, старик, нам нечего слушать тебя. Оставь нам этого человека и уходи!

Но, как будто ничего не слыша, Магло продолжал:

– И апостолы искореняли порок там, где встречали его. И я поступил так же. Я кричал целый день о мерзости падения, я приглашал вас всех, мужчин и женщин, всех обитателей Рима погрузиться в самих себя, отступить от дьявола и преклониться перед Агнцом. Я хотел остановить грех. Зачем эта женщина прелюбодействует? Зачем этот человек только что осквернил себя с нею?

И, не зная, что случилось с Амоном, которого бдительно стерегли, он указал наугад своим грозным посохом, и тень его упала в промежуток между домами, в наступавшую темноту.

– Зачем эта женщина предает свое тело греху, тогда как она должна бы принадлежать Крейстосу, который ждет ее в сферах вечных небес?

Но тот же нарушитель тишины крикнул снова, сильно смущая важные носы и благоразумные подбородки слушателей Магло:

– Это нас не касается. Твоему богу нет дела до тела Кордулы!

Ему вторил другой, который несмотря на сопротивление

многих рук протиснулся в жилище испуганной Кордулы:

– Меня зовут Скебахусом, я торгую соленой свининой и даю ее Кордуле за ее тело, которым я пользуюсь, не причиняя никому зла, и доставляю этим наслаждение и ей, и себе.

Кто-то еще возмутился:

– Она примет и тебя, если ты ее пожелаешь, хотя ты и стар. Нас всех принимает Кордула!

– Меня! – воскликнул Магло.

Слова о связи с Кордулой так возмутили его, что он застыл на месте, вытянув посох, раскрыв рот и не зная, что сказать. Пронесся смех. Раздались возгласы негодования. Политеистическая толпа бранила Магло; важные носы и благо-разумные подбородки торговцев удалились, вероятно, не поняв его слов.

Он хотел говорить снова, но из множества рук, поднявшихся вокруг него, полетели гнилые плоды, корки арбузов и тыкв; что-то грязное прилипло к его бороде, что-то тяжелое упало к ногам Кордулы, которая поднялась в негодовании. Благоразумные люди уходили, оставляя Магло на произвол злых шутников, но со всех сторон стали стекаться христиане, рабы, свободные ремесленники квартала, услышавшие, что призывают к Крейстосу. Смелые женщины удерживали руки осаждавших. Какой-то человек подбежал к Кордуле и, взяв ее за руку, помог бежать через внутренний двор, куда выходили каменные желтые портики.

– Ах, это ты Геэль! Какой злой христианин этот старик!

Ты, по крайней мере, не терзаешь бедных женщин!

И Кордула целовала руки Геэля, который поручил ее Скебахусу, прервавшему речь Магло и теперь ревностно взявшему ее под защиту. Он сказал Геэлю:

– Будь спокоен! Хотя она принимает тебя даром, а меня за соленую свинину, но я люблю ее не меньше тебя!

Геэль вышел в коридор, где забытый в суматохе Амон ждал затишья, чтобы убежать. Геэль узнал египтянина, которого видел с Аттой в день торжества в храме Солнца.

– Я знаю тебя, ты можешь довериться мне. Христиане никому не желают смерти. Немного погодя я провожу тебя, если хочешь, до конца улицы.

И в этих словах Геэля было слышно, что он искренне добр, потому что Амон напомнил ему тот день, когда Мадех проезжал мимо него в триумфе нового культа, не слыша голоса брата, звавшего его. Быть может, этот иностранец скажет Геэлю о забывчивом друге, которого судьба обратила в разодетого в шелк и золото вольноотпущенника, хотя и посвященного Солнцу, тогда как он, Геэль, влачит темную трудовую жизнь в гончарне. Геэль расчувствовался, Амон тоже трогательно взглянул на него, – между ними образовалась та внутренняя связь, которая возникает лишь в родственных душах.

Толпа стала менее густой. Манипула солдат, бежавшая с копьями, предводимая центурионом с мечом в руке, рассеяла ее окончательно. Христиане увлекли Магло, пребывав-

шего в отчаянье. Его особенно возмущало их полное безразличие по отношению к проституткам, своего рода примирение с пороком, затопившим Рим, как море проказы. С первого же дня он непрестанно восставал против лупанаров и таверн, переполненных людьми, ведущими распутную жизнь, он возмущался императором, обожавшим Черный Камень, символ греха, и открывшим свой храм для всех богов; он жаждал новых гонений, чтобы вера окрепла и возродилась чистота прежних времен. В действительности все происходило совершенно иначе. Христиане, по крайней мере, те, кого он знал, желали защищать друг друга, объединяться, проявлять взаимную помощь, но они оставались чужды тому, что делала империя; даже обряды Элагабала, уживавшиеся со странными идеями брата Заля, не были им противны. Даже политеисты возмущались упразднением их культов ради Черного Камня; христиане же с жалкой снисходительностью относились к порокам тела, прощали грех блудникам и блудницам, среди которых были их несчастные братья и сестры, и не считали их виновными, так как часто голод бросал их в разврат; рабов с детства приготавливали их господа для блуда, свободных же увлекал порочный образ жизни.

XIV

Геэль и Амон направлялись по Новой улице к Тибру, воды которого вдали мелькали пятнами, желтыми, как брюхо

ящерицы. Геэль не расставался с Амоном и провожал до его дома, по соседству с лавкой Типохроноса. Они шли и беседовали; гончар сердечно говорил о Мадехе, юном брате из Сирии, теперь жреце Солнца в Риме и вольноотпущеннике примицерия Атиллия, благодаря влиянию которого, как говорили, воцарился в мире восточный культ. Но какое до этого дело Геэлю! Его мучило только обидное воспоминание о Мадехе. Несколько раз он спрашивал о нем в маленьком домике в Каринах, где белый на солнце атрий по-прежнему охраняли визгливая обезьяна, изнывающий от жары крокодил и пестрый павлин. Или же Мадех не хотел принять его, потому что Геэль был христианином? Он признался в этом Амону и спрашивал, не знал ли он Мадеха, он, чужеземец из далекой страны, родившийся в Египте. Амон сказал:

– Мадех! Атиллий! Они переплыли море вместе со мной, сошли на берег в Брундизиуме, и мы вместе совершили переезд до Рима по Аппиевой дороге.

– Значит, ты беседовал с ним, с моим братом Мадехом? Говорил ли он с тобой обо мне, о гончаре Геэле, обо мне, таком же сирийце, как и он сам? Я встретил и узнал его накануне триумфа Элагабала. Мадех подал мне надежду, что я увижусь с ним в Каринах. Говорил ли он тебе об этом?

Полился поток трогательных слов. Но Амон грустно качал головой:

– Я не говорил с ним с тех пор!

Он вспомнил, однако, что Атиллий вырвал его из рук сол-

дат, заставших его в лагерном рву, на дне которого он прислушивался к движению крокодилов, уплывших из Тибра. И он рассказал об этом приключении Геэлю, который проявил недоверие:

– Не могут быть в Тибре крокодилы и не могут они скрыться в один из рукавов реки, протекающей под лагерем! Кто тебя уверил в этом?

Амон рассказал про Аристеса и Никодема. Но Геэль возвратился к разговору о Мадехе и упорно расспрашивал египтянина об одежде сирийского брата, о звуке его голоса, о его повадках, о смехе. И они, не стесняясь, говорили о том, что Мадех, жрец Солнца, принадлежит Атиллию и совершает отвратительное служение Черному Камню.

По сторонам зияли узкие улицы с низкими домами, двери скрывались в нишах заплесневевших стен. На подоконниках, просвечивая сквозь дырявую промасленную бумагу, дымились лампы. Спутники проходили мимо таверн с закоптелыми потолками, в которых старые проститутки играли в кости с рабами и ворами. Иногда пьяный солдат валялся на их пути, и, чтобы обойти его, они перескакивали через густой ручей, уносивший отбросы: Геэль, не стесняемый в движениях широким плащом, делал это легко, а Амон, стянувший себе живот полосатым дипломом, с ушедшей в плечи головой, в калантике, едва не попадал в воду. Затем они вышли на песчаный берег. Тибр, казалось, плакал, совсем черный с редкими светлыми полосами, тянувшимися от города.

Из-за округленной вершины Ватиканского холма занималось сияние. Появилась круглая, как щит, луна, озаряя светом извилистое течение вод, пересеченное колеблющимися тенями. И на горизонте, справа и слева, очертились здания, арки, отдельные колонны, точно мачты галер, мосты, дороги, окаймленные храмами с роскошными портиками, ряды домов, усеянных светлыми точками, а у подошвы Капитолия, гордо увенчанного Арком, – край бесконечного Марсова поля.

Развернувшись от Палатинского холма, они направились в Велабрский квартал, очень оживленный и как бы дымящийся в свете тысяч фонарей, загнутых в виде рожка или сделанных из полотна, пропитанного маслом.

Подходили к концу часы первой стражи, и улицы наполнялись людьми, ушедшими после ужина на прогулку. Тут были очень важные, родовитые римляне, жители Запада, которые сильно жестикулировали, уроженцы Востока, заметные по одежде и по налету таинственности. Рабы ссорились между собой. Иногда несли в лектике какого-нибудь чиновника империи, отупевшего после ужина, и впереди него бежали рабы, расталкивая тех, кто недостаточно быстро сторонился. Периодически улица оглашалась проклятиями – это когда толпа узнавала очередного вольноотпущенника Элагабала, только вчера оставившего какое-нибудь постыдное ремесло. Тогда между представителями Запада и Востока возникали ссоры, неслась разноязыкая брань, – и прерывалось

это с появлением патруля, щедро наделявшего всех без разбора ударами мечей плашмя.

Более спокойные граждане оставались дома. Это были ютившиеся в тесных лавках, открытых прямо на улицу или устроенных под портиками, продавцы шелковых и шерстяных материй, кондитеры, инкрустаторы на слоновой кости или перламутре, продавцы благовоний и разных снадобий, по слухам, помогавшие женщинам делать аборт; а вблизи закрытых в этот час бань ютились торговцы вином, налитым в большие глиняные амфоры, и соленой свининой, и колбасники, товар которых свисал с потолка неподвижными вертикалями.

На пороге маленького дома с выступающей вперед большой дверью, к которой вела лестница, Геэль покинул Амона, пообещав еще раз прийти к нему, чтобы поговорить о Мадехе. Египтянин взялся за молоточек у двери, и привратник, прикованный цепью, позволявшей ему двигаться лишь настолько, чтобы открыть дверь, уже поднялся на стук, как вдруг у дома выросла толпа, которая, как бы гонимая ветром, помчалась дальше, в направлении форума. Амон, подхваченный толпою, неся вместе с ней, а в это время из темной улицы появились новые толпы людей, носилки и воины в сверкающих шлемах. Со всех сторон кричали:

– Элагабал! Элагабал!

Отряд конницы проскакал по склону улиц, сверкая кольцами людских и конских броней, в то время как харчевни

закрывались с отчаянным стуком. Амон очутился посреди белого в лунном свете форума, с его арками Септимия Севера и Тита, очертившимися в голубоватом воздухе, с храмами Согласия и Юпитера; со стороны Тибра высились храмы Марса и Сатурна, а против них – храмы Кастора и Поллукса, окруженные базиликами и галереями, с рядами изваяний императоров и богов. Там же были расположены дворцы сената и великого жреца; алтарь Весты в круге колонн и статуя Марсиаса близ народной трибуны. Слева возвышались крутые стены немой крепости – Капитолийский холм.

На ступенях храмов, взбираясь на Капитолий, заполняя Ростру, ревела толпа, а отряд конницы быстро теснил ее. Из воплей и восклицаний ста тысяч глоток Амон с изумлением узнал, что император увеселял себя посещением вертепов, и потому вокруг арены его разврата было предусмотрительно расчищено пространство.

Амон хотел вернуться, но толпа отхлынула к Широкой улице, которая кончалась у форума, справа от колонны Антонина и слева от колонны Траяна. Постепенно с Капитолийских высот исчезли все люди. Они, понося императора, рассеялись по кварталу Изиды и Сераписа, охватывающему с юга Целийский холм, а с севера высоты Эсквилина.

Форум опустел, и Амон мог теперь рассмотреть с Широкой улицы Элагабала в открытой лектике, окруженной другими лектиками, с факелами и фонарями. Впереди императора, с мерным стуком копыт о камни, ехал конный отряд.

Во главе всадников, катафрактариев, Амон узнал Атиллия с мечом в руке, исполнявшего обязанности примицерия императорской гвардии.

Когда он, оттесняя толпу, приказал коннице двинуться по Широкой улице, раздался продолжительный взрыв гневных криков. Тысячи кулаков поднялись, проклиная Атиллия:

– Горе тебе, патриций, побуждающий Элагабала теснить нас!

– Прочь! Прочь! Пусть родившая тебя отречется от тебя навек!

– Что тебе здесь надо, римлянин, продавший Рим Авиту?

– Ты – позор империи!

Но Атиллий оставался нем под потоком оскорблений, и только направлял на толпу своих воинов, которые били народ древками копий. А Элагабал лежал на подушках своей лектики, покачивающейся на плечах носильщиков, блестящих в свете плывущей по небу луны.

Амон не хотел верить, чтобы его молчаливый спутник на корабле, грустно бороздившим волны Внутреннего моря, и военачальник, спасший его во рву преторианского лагеря, мог быть вождем грубого отряда, кони которого так жестоко теснили толпу. И он вспомнил то, о чем говорили втихомолку со дня воцарения Черного Камня: колоссальный разврат, мужская любовь, обожествленная Элагабалом, отдававшимся своим вольноотпущенникам; смешение всех богов в одном храме; предполагаемое и устрашавшее всех исчезнове-

ние детей знатных семей для принесения в жертву Солнцу; покровительство христианам, тайно поддерживающим власти; наконец, все возрастающая изо дня в день победа Востока над Западом, – все это приписывали Атиллию. Ему придавали черты чудотворца, причастного к ужасным тайнам, и называли властителем дум юного императора, который под влиянием неслыханных чар забыл свое происхождение (он был римлянин по рождению) и поклялся уничтожить богов Рима, его установления, его народ и возвеличить Черный Камень. Некоторые говорили, что Восток мстит Западу, потворствуя всеобщей похоти, которая скоро разрушит государство, если им не будет править энергичная рука.

Рядом с Амоном кричали двое, один из них заклинал:

– Я призываю богов в свидетели! Долго ли они будут терпеть кощунства Элагабала и не пошлют ли они легионы, чтобы свергнуть его?

А другой отвечал с диким восторгом:

– Пусть работает гниение, гражданин, и пусть оно навсегда унесет тело! К чему легионы, когда смерть налицо.

– Заль! – продолжал первый. – Твои слова опасны. Я, римлянин древнего рода, говорю тебе, персу, сыну раба, что империя погибнет жалким образом, если позволит властвовать над собой побежденным варварам.

Заль возмутился:

– Знай, что побежденные варвары будут приветствовать падение Рима, если ему определено погибнуть. Что же каса-

ется меня, о гражданин, знающий мое имя, то я мало беспокоюсь об империи, и мне не о чем говорить с тобой, которого я не знаю. Прощай!

Заль отвернулся от собеседника, пришедшего в ярость:

– Я говорю, что ты христианин!

– Что еще?

И Заль поднял презрительно свою изящную, восторженную голову, скрестил руки на груди. Из окружающей их толпы прозвучал голос:

– Ударь его, Карбо!

– Да!

Огромный кулак опустился на Заля, кровь показалась на лице. Не защищаясь, он скрестил руки, едва шевеля губами, ожидая нового насилия, но в это время отброшенная воинами толпа быстро рассеялась через Виминал, оставив Заля в статическом воодушевлении, а Амона – окаменевшим от ужаса.

К ним поскакал всадник. Заль с окровавленным лицом хотел удалиться, но, заметив, что Амон в опасности, обернулся и взял его за руку. Появились новые всадники, во главе с Атиллием.

Амон громко назвал себя:

– Я – Амон, твой товарищ по путешествию, которого ты хорошо знаешь!

– Иди с миром в свой дом, – сказал Атиллий. И, заметив при свете луны кровь на лице Заля, обратился к нему:

— А ты? Зачем ты оставался здесь? Удались!

— Я христианин, — сказал Заль странным голосом мученика. — Римляне почитают своих богов, я же исповедую Крейстоса и признаю Элагабала, который поможет победить!

И он, вздрагивая, удалился в сопровождении Амона, а Атиллий пристально посмотрел ему вслед. Форум был пуст; соседние улицы молчали перед ним, и со всех концов города неся гул затаенного гнева Рима против императорской власти.

Заль все шел вперед, не обращая внимания на Амона, который следовал за ним по пятам. Египтянину хотелось идти вместе с ним, потому что ему было грустно на этих залитых лунными брызгами улицах, с молчаливыми тенями домов и храмов. Чем ближе подходил Заль к Эсквилинскому холму, тем становилось все пустынное, и тишину едва нарушали какой-нибудь прохожий или солдат, меч которого ударялся о тумбы улиц. Но гул снова возрастал со стороны Сурбуры, от храма Мира, соседнего с Метой-Суданс, с которой две прямые струйки, тонкие, как хрустальные нити, спадая, исчезали в темной ночи, а светлые брызги блестели, как искры костра. Амон перестал соображать, теряясь в этих незнакомых кварталах, он боялся возвращаться тем же путем в Велабр, чтобы не встретить шествия, пересекавшего эту часть города.

Низкий водоем блеснул, как расплавленное олово; у одного из краев его треугольной ниши смотрела голова бога. Заль

обмыл себе лицо. Амон нагнал его и робко спросил:

– Он сильно тебя ранил, не правда ли?

Заль поднялся, отирая лицо краем туники.

– Это – пустяки, – сказал он, – свежая вода остановит кровь, и завтра она не будет заметна!

И он ушел, влекомый суровым желанием остаться один. Но Амон побежал за ним.

– Я не знаю, как мне пройти в Велабрский квартал, где я живу. Не проводишь ли ты меня? Я знаю таких же христиан, как и ты. Я расскажу тебе о них. Посмотри на меня. Имеешь ли ты доверие ко мне?

Он говорил быстро, не давая Залью заколебаться. Тот пристально посмотрел на египтянина:

– Ты похож на мирного гражданина, – ответил он, – и ты не был в числе тех, кто советовал Карбо ударить меня. Но не надейся вернуться к себе сегодня ночью. Слышишь?

И крики, мощные, как раскаты грома, неслись со стороны Сурбуры, в двух шагах от форума. С ними смешивались грубые звуки инструментов, утешавшие Амона.

– Видишь ли, – спокойно продолжал Заль, – император входит в данный момент в лупанары, которые его приветствуют, и он прогнал граждан, чтобы ему не мешали испытывать наслаждение. Чтобы вернуться в Велабр, тебе надо сделать большой крюк и пройти мимо Тибра. Это – целая ночь пути. Тебе лучше провести ее на воздухе.

Он сказал это равнодушно, и Амон заметил, что с ним

говорит уже не прежний пылкий христианин. Тогда он счел нужным рассказать ему про Атту и Геэля:

– Я очень уважаю этих двух христиан, в особенности Геэля, которого я узнал всего несколько часов тому назад. Атта же очень мудр. Каждое утро, при моем пробуждении, он рассказывает мне о величии моих богов и о могуществе Крейстоса, вашего Бога.

Заль непонятно взволновался. Он дружелюбно засмеялся при имени Геэля, но при имени Атты поднял руки, как бы утверждая:

– Клянусь, что это ложный христианин с сердцем, смердящим пороками, и душой, черной от грехов. Я сниму с него маску в день, который уже близится.

– Как? Ты сомневаешься в его добродетели?

– Он заставил бы покраснеть святой лик, если б только этот лик мог краснеть. Он имеет общение с тобой, язычником, он пользуется твоим ослеплением, льстит тебе и кормится у тебя, как собака, как поросенок, каков он и есть.

Воцарилось молчание. Луна стояла в зените. С Эсквилинского холма им видна была часть Рима, белая в лунном свете, пересеченная серыми линиями. Вдали змеился Тибр широкими серебристыми извивами. Вокруг расстилались сады Мецената с неподвижной растительностью пепельного цвета; вдали виднелся силуэт лагеря преторианцев, Виварий, вал, идущий к Капенским воротам, равнина, пересеченная Номентанской и Саларийской дорогами, а на горизонте смутно

обозначались очертания холмов, поднимающихся горбами в небо. Из Вивария, где держали зверей, привезенных Элагабалом с Востока, вырывался глухой вой. Заль протянул руку:

– Там покоятся они, исповедники Крейстоса. Там лежат их тела под аренами. Если у нас и будет теперь еще несколько лет мира, то сколькими годами преследования заплатим мы за это! Но Агнец знает, чего он хочет. Мир будет принадлежать ему, и гордый Рим падет к ногам Крейстоса!

Он свернул вправо, не сказав больше ни слова. Сеть узких улиц с высокими домами, от которых исходило ужасное злобование, пересекали режущие лучи света. На углах улиц – запертые храмы и фонтаны с тонкими струями, на перекрестках – дымящиеся пред покинутыми алтарями лампы; тени женщин в отверстиях низких дверей. Луна то здесь, то там проливали белые потоки лучей, и в них внезапно вырастали полуразрушенные портики, площади величиной с ладонь, с лестницами в несколько ступеней, ведущими к тщательно запертым домам. Так же выглядела и та узкая улица, в которую свернул Заль. Амон слышал смутное пение мужских и женских голосов, как бы исходящее из-под земли. Он остановился. Но христианин взял его за руку.

– Что ты будешь делать теперь? – спросил он. – Я не желал приводить тебя сюда, но ты сам последовал за мной; я же не могу пропустить собрание своих братьев. Никто тебя не знает, кроме Атты, если он там. В таком случае я изобличу его свинскую душу и плюну на него. Пойдем!

Амон не знал, что сказать, настолько его смущало непрерывающееся пение, а Заль добавил:

– Если ты не хочешь вернуться один в Велабр! А не то прощай!

Амон последовал за ним. Пение становилось все слышнее, его ритм разрастался с невыразимой нежностью. Заль остановился перед крепкой железной дверью. За ней кто-то находился, потому что в следующий момент она отворилась: перед ними тянулся коридор, идущий в сырой сумрак, однако при свете глиняной лампы они разглядели лестницу, ведущую вниз. Заль спустился по ней, а за ним и Амон, который, чувствуя за собой чье-то дыхание, боялся обернуться.

XV

Перед ними открылась небольшая, очень низкая зала, с дугообразным сводом на квадратных столбах. В глубине, на освещенной стене, расписанной фресками, виден лик человека с продолговатой бородой, спускающейся на обнаженную грудь, с которой падают капли крови, руки приподняты крестом, истощенное тело охвачено неподвижностью смерти, а вокруг него – два крылатых существа, написанных в цвете волн; два длинных Т, перевитых символическими пальмами, расширяются в высоте, распадаясь дождем очаровательных лилий... На потолке, поглощенном полутенью, белый агнец ударяет тростью скалу; из нее бегут синие во-

ды, объемлющие свод; в них погружается другой белый агнец, которого крестит третий... Вдоль освещенных невидимыми лампами стен видны простые украшения в расплывчатых красках, лепные ветви с листьями девственной чистоты, без резких контуров или усложнений, разделенные прямоугольными щитами, над которыми изображены урны с плодами, здесь торжествует Крейстос, в золотом ореоле, с длинными волосами и глубоким взором, устремленным за пределы мира; одна рука на сердце, в другой – открытая книга и вокруг Небо недвижных звезд...

На симметричных скамьях, отдельно, сидят мужчины и женщины, бедные и богатые, отличающиеся по одежде. Они не поворачивают голову при входе Заля и Амона, которые медленно садятся. Печальная песнь, прерываемая иногда мистическими порывами, за которыми вьется тема, бесконечно возвращающаяся, как волны седого моря, обращена к Крейстосу, чьи бледные лики со сводов взирают благостно на верных.

Плачут женщины и рыдают мужчины, бьют себя в грудь, жаждущую умерщвления желаний плоти, часто преклоняют головы и падают ниц, и звучат тихие молитвы, сливающиеся в непрерывный шепот, в молчание, полное волнения!

Лик Крейстоса в глубине кажется живым, его тело как бы наполнено дыханием жизни, прекрасные очи сияют блеском топазов, и не капли крови дрожат на его груди, а светлые слезы, подобные упавшим на землю жемчужинам!.. И крылатые

изображения превращаются в архангелов в чешуйчатых золотых бронях, потрясающих копьями с развевающейся на их концах голубой тканью; и Т исчезают, в сиянии, среди потока зелени, пальмовых листьев и лилий, подобно белым покрывалам на безграничном океане.

Миг озарения! И в то время как все снова застывает в неподвижности, возникает та же грустная мелодия, прерываемая мистическими порывами, за которыми вьется тема, бесконечно возвращающаяся, как волны седого моря. И снова слышится плач женщин и рыдания мужчин, биение в грудь, жаждущую умерщвления плоти, частые преклонения головы и падения ниц, и тихие молитвы, сливающиеся в непрерывный шепот, и молчание, полное волнений!

Люди снова садятся, строго размышляют. Затем, под изображением Крейстоса на кресте, восстает чье-то очертание, господствуя над залой, желтой в свете ламп.

– Братья и сестры, кто выразит волнение наших душ, когда мы постигли, что Агнец в бесконечной милости своей пользуется развратом времен, дабы проявить свое слово! Да! Из этого сосуда нечестия, который именуется Дворцом цезарей, из этого склепа ложных богов вырастает божественный цветок, просветленный цветок благодати, которая наполнит мир огнем очистительной любви. Благословим же его! Преследования прекращаются у порога новой империи, которая покровительствует нам; наши мученики, погребенные в полях, скоро упокоятся тихим святым сном в наших церквах,

в благословении Агнца! – И женщина, горячий голос которой полон бесконечной нежности, восторженно смотрит на изображение Страждущего.

Наступает молчание. Поднимается Заль:

– Братья и сестры, беспощадные для нас времена еще не прошли. Я исповедал мою веру сегодня вечером!

И Заль выступает вперед, бледный, с распухшим лицом, озаренный ярким светом. Раздается крик ужаса! Женщина по имени Севера кидается к Залю:

– О, жив! Жив! Поистине, жив! Слава Агнцу, победившему грех! О, Заль!

– Если Агнец победил грех, то нечистая любовь плоти победит любовь!

Эти слова бросает суровый голос, голос Атты, который видел только Заль и Северу.

Заль и Севера не слышат его среди общего волнения, и Атта грозно говорит снова, видя в присутствующих христианах – людей Запада, которые охотно откажутся от сравнения религии Элагабала с христианством, от сравнения, которое допускают только люди Востока, как Геэль и бывшие у него в день пришествия Магло. И глухо расширяет он пропасть между ними, смело обличая принцип зла и добра: Заль вдохновлен злом под личиной добра; это он ставит ему в упрек, чтобы возбудить недоброжелательство к своему врагу.

– Постоянная борьба двух принципов, Заль! И ты поддаешься ей, как истый перс. Ты уменьшаешь благодать и силу

Божию, ради демона.

Ни Заль, ни Севера не слушают; христиане качают головами и затем оставляют их, а она умиленно дотрагивается до его лица своими руками, изящными, как руки патрицианки. Христиане возвращаются на свои скамьи. Заль снова садится рядом с Амоном, скрывшимся в самый далекий угол залы, где тени покрыли священные изображения.

Один из верующих встает. В запутанных словах он благодарит Сына Человеческого за начало мученичества в лице брата Заля. Но не подобает христианам надеяться на императора Элагабала, который есть сосуд, полный пороков, из которого восстанет не цветок благодати, но ужасная ехидна зла.

– В словах Северы начало ереси, – говорит он и утверждает со смиренной уверенностью, что, углубившись в себя, она признает вечную истину.

А другой добавляет:

– В его глазах Заль проявил недостаток смирения, прервав проповедь Северы, чтобы возвестить о своем исповедании веры. Он, сам, Дативус, знал мучеников, страдавших от огня и от бичеваний в рудниках, лишенных омовений и лежа и усердно скрывавших следы страданий. Левая рука не должна знать, что делает правая: какую бы радость ни ощущали христиане, им незачем знать о том гонении, которому от язычника подвергся Заль; это ведомо ему и Агнцу.

Его поддерживает третий:

– Вера имеет цену и без дел. Зачем Заль, посещающий собрания своих братьев и сестер, смущает их непрошеным объявлением о своем исповедании Крейстоса? Лучше было бы прийти в начале молитв и слиться со всеми в божественном лоне непорочного Агнца, чем развлекать свою душу внешними делами, оскверняя ее прикосновением язычников и совершать таким образом двойной грех – любопытства и гордости. Но уж таков Заль: в нем сокрыта змея, которая сгложет его сердце и обречет его сатане.

И остальные дружно подхватили:

– Между Залем и Северой есть такие чувства, которые дух не может объяснить иначе, как чувствами тела. Итак, когда Заль предстал со своим мученическим лицом, почему Севера кинулась к нему, а не продолжала свою проповедь, которую все сосредоточенно слушали? Такое чувство не проходит незамеченным. И к чему снисходительно описывать мерзости Элагабала и его приверженцев и говорить, как уже давно утверждает Заль, что могут быть терпимы Богом деяния этого безумца? Кошунство! Клевета! Или, как говорит благочестивый Атта, возможно ли признавать осужденную и достойную осуждения борьбу двух начал, умалять божественную силу и возвышать силу зла.

Страшный крик вырывался из как бы растерзанной груди, и Севера распростерлась перед Крейстосом и рыдала, припав лицом к земле. Верные, стоя, протягивали руки, как бы для того, чтобы проклясть ее, но страшно бледный Заль оставал-

ся неподвижным. Атта кричал надменно, подняв голову, с жестокой дугой бровей, из-под которых блестели, как уголья, его порочные глаза.

– И ты, Заль, сломишь ли ты, наконец, твою гордость перед Искупителем людей? Уподобился ли ты нашей сестре, загубленной тобою, или останешься непреклонным во грехе?

При звуке этого голоса Заль вскочил и, раздвигая верных, схватил Атту за руку и силой повлек его к ногам Распятого, озаренному теперь тусклым желтым светом.

– Свидетельствую перед лицом Того, Кто будет судить нас всех, что этот человек живет грехом, что душа этого вероломного брата мрачна, как змей. На колени, на колени, Атта! Вот Амон, который будет свидетельствовать! – И, сдавив ему горло, он принудил его опуститься на колени.

Амон испугался и весь съежился. Ему хотелось вообще исчезнуть, но Верные принудили его пойти к Залю. Воспользовавшись общей неразберихой, Атта с невероятным усилием вырвался из рук Заля и, растолкав христиан, выскочил из залы. Уже через мгновение раздался стук выходной двери, и слышались торопливые шаги, затихающие в глубине улицы.

Севера, встав, отерла слезы краем своей паллы и улыбнулась Залю, который, сложив руки, устремил взор к своду, где расплывались очертания трех агнцов и брызжущих из скалы струй.

Собрание медленно расходилось. Верные дарили друг другу прощальный поцелуй мира. Выразительные пожатия рук, долго сдерживаемые нежности, скрытые слезы, немые излияния любви в полусвете залы, – здесь как бы обнимались души, над которыми царил Агнец. Остались только Севера, Заль и Амон, испуганный.

– Прощай, сестра, – сказал Заль Севере и коснулся ее лба чистым поцелуем. – Прощай! Я рассеял лицемерие и исповедал Крейстоса! Какие чудные часы для меня, сестра! Они приближают меня к Богу!

– Довольно, довольно, Заль, – ответила Севера. – Твоя гордость заставит меня усомниться в твоей доброте. Расстанемся! – И, покидая Заля, она прошептала: – Ты мне свидетель, Сын Божий, что я люблю этого человека духом, а не телом!

XVI

Севера быстро удалилась. Улица в чересполосице тьмы и света была еще пустынна. Щербатая луна тихо плыла по небу, окаймленному на горизонте желтой дрожащей полосой.

Заль молчал, а Амон размышлял. Верить ли слухам о христианах, которые давно уже – и в Риме, и в Александрии – возбуждали любопытство политеистов? Он вспомнил об их прилюдных исповедях, поцелуях и слезах, о едва уловимой

любви между удивительным Залем и Северой, – все это было так непохоже на то, с чем он прежде сталкивался в своей безмятежной жизни. Амон подумал о бегстве Атты, услышавшего его имя, и решил спросить его об этом при первом же удобном случае.

Египтянин шел с отяжелевшими веками, со страшной усталостью в ногах. Он в мыслях считал часы, которые ему не удалось доспать в своем жилище в Велабре благодаря приключению на Сурбуре, куда оказались вовлечены и Магло, и Геэль, сделавший его свидетелем разоблачений Заля, его ночного спутника.

И ему казалось, что он повсюду видит христиан. Их влияние разрастается, и ни одно народное сборище не обходится без них. И хотя их раньше преследовали и бросали на съедение диким зверям, да и теперь продолжают оскорблять, все же их число продолжает расти, и каждая улица, каждый дом имеет своего христианина. Они созданы для оскорблений и ударов, как Заль и Магло. И они легко принимают то, что раздражает поклонников других богов: воцарение религии, ненавистной Западу, и гибель империи, что внушает каждому смутный страх. Их даже подозревали в желании вызвать эту гибель и в тайной деятельности, имевшей эту цель. Для Амона же как египтянина, родина которого страдала от Рима, это было глубоко безразлично! Даже порывы тайной симпатии не мешали ему желать смерти империи. Но он только пассивно признавал тот порядок вещей, который его окру-

жал.

Фиолетовый свет струился с неба, полный нежности. На краю горизонта луна снова стала желтой и прочертила линии улиц, глубину площадей и серые тени зданий, которые вырастали из земли. Амон и Заль шли мимо храмов Юпитера Вилишальского, Венеры Эрнийской и Геркулеса. Они проходили по кварталам, в которых уже пробуждались люди: кварталы Суккузакус, Орус, Капулаторов. Эти части Рима имели мрачный вид даже на заре: достаточно было взглянуть на их высокие дома с узкими окнами, низкими дверями и вдохнуть запах, словно исходящий из только что взрытого кладбища. Это была зона гробовщиков и людей, занимавшихся омовением и бальзамированием мертвых.

– Ты пойдешь со мной по этой улице, – сказал Заль, – а затем спустишься с Виминала до храма Мира и выйдешь на форум, а оттуда в Велабр. Я же вернусь домой.

И он пошел по улице, которую Амон узнал как местожительство Зописка, с кем он накануне разделил столь вкусный, но тяжелый обед. Это напомнило ему, что он с тех пор ничего не ел, голод начинал мучить его.

Он собирался покинуть умолкшего Заля, который остановился перед домом с открытым коридором, вымощенным острыми камнями и ведущим прямо ко двору, где находился бассейн с покрытой зеленью водой. Этот двор походил на колодец, в стенах которого были проделаны маленькие окна с поломанными ставнями; в расщелинах ютились целые се-

мьи серых ящериц, вдыхая смрадный воздух.

– Я знаю этот дом. Здесь живет Зописк, – сказал Амон.

И вслед за Залем он вошел в коридор и стал взбираться по деревянным ступеням лестницы. Так они поднялись на пять ярусов, едва освещенных утренним светом, сочившимся сквозь прорези в стенах. Урывками Амон видел целый угол Кампании, лагерь преторианцев и Виварий. Издали человеческие фигуры, уменьшенные расстоянием, казались похожими на колоски растений, которые перегонял с места на место легкий ветер.

Они все еще поднимались по лестнице, полной паутины. Восьмой ярус был устроен на плоской крыше, в виде шаткого бельведера. С десятков комнат-клетушек занимал всю террасу, висевшую над улицей. Амон взглянул вниз. Перед его глазами замелькали картины просыпающегося города: балъзамировщики с урнами благовоний в руках; мясники в окровавленных туниках, бегущие к мясному рынку; матроны, идущие на рынок плодов, расположенный в верхней части Священной дороги; трактирщики, погоняющие ослов, навьюченных пустыми мехами по обе стороны туловища. Снизу еще более сильный, как бы недогретый утренней теплотой, подымался тот же трупный запах, который, казалось, витал над кварталом фиолетовым облаком. Заль указал Амону на дверь Зописка, а сам, покинув его, заперся в одной из клетушек этого этажа. У Амона не было выбора, он хотел есть и чувствовал себя совсем разбитым; лицо его после всей этой

ночной суеты приняло зеленоватый оттенок, как у обитателей квартала, занимающихся бальзамированием и омовением мертвых. Он постучал в дверь Зописка: сначала никто не ответил; тогда он постучал сильнее. Из клетушки раздавался голос поэта; он не слышал Амона, потому что как раз в этот момент декламировал оду своего сочинения и, увлеченный звуком собственных слов, ничего не воспринимал.

Тогда Амон, решительно настроившись, сильно надавил на дверь. Порыв сквозняка втащил его в комнату, и он чуть было не оступился о стоявший у порога глиняный кувшин. Листья папируса взлетели вверх. Зописк сидел на грубой скамейке, закрывая своим худым телом падающий в окно свет. При виде египтянина он вздрогнул, потом задрал одну ногу, в ужасе зажмурился и забормотал:

– Ты не видение? О нет! Ты не видение, пришедшее меня смущать?

Амон, пораженный такой встречей, похолодел, а поэт сказал ему:

– Я знал тебя живым, Амон, я сочинял для тебя поэмы, посвященные Анубису, Серапису, Зому и Нуму, не забывая Изиду и Озириса. Правда, это не боги твоей земли, но я надеюсь, ты простишь меня. Хочешь ли ты знать, какое божество было вдохновительницей моей музыки?

– Да, – глухо произнес Амон, успокоившись.

– Венера! – сказал Зописк, одновременно покаянно и победоносно.

Амон приблизился к нему, сначала на шаг, затем на два и наконец подошел вплотную к скамье. Зописк был в суббукуле, он поднял голые руки и дотронулся до лица египтянина. Очевидно, он ожидал в ответ получить удар, потому что встал и надвинулся на Амона. Оба упали, голова Зописка опрокинула сосуд, и по террасе потек с легким шелестом ручеек.

– Амон!

– Зописк!

Они поднялись. Ощупали друг друга руками. Оба были невредимы. Зописк окончательно убедился, что Амон по-прежнему жив. После некоторого молчания египтянин сказал, что он ничего не ел со времени их кутежа и теперь голоден. Зописк же потребовал объяснения, каким образом Амон попал к нему в такой ранний час. И, пока он одевался, Амон, слегка смущенный, рассказал ему о своей встрече с Кордулой, о неуместном появлении Магло, о добрых намерениях Геэля, о знакомстве с Залем и о собрании христиан. Он не забыл и Атту. Все это забавляло Зописка, в особенности же посрамление его соперника Атты. И поэтому он сказал:

– Видишь ли, этот паразит наказан по заслугам. В твоём присутствии он скрывал свою принадлежность к христианству и, наверное, отрицал бы ее, не будь я при тебе. Ты прогонишь его, не правда ли?

– Это человек очень ученый, – ответил Амон, – и я не

понимаю, почему твой сосед Заль так сердит на него!

– Сосед Заль! Зописк не знает его.

Зописк возгордился теперь, потому что Амон предложил ему иентакулум, утренний завтрак, состоящий из хлеба, смоченного в вине, с прибавлением фиников и оливок. При слове «христианин» поэт презрительно улыбнулся, иронически шевельнул плечами, как существо высшего порядка по сравнению с недостойным человечеством, и это поразило Амона, в особенности по отношению к Залю, в котором он смутно угадывал величие духа.

– Однако Заль знает тебя, – сказал он поэту, – так как это он указал мне на твою дверь.

– Эти люди знают все и проскальзывают всюду. Я не знал, что этот Заль живет здесь. Неудивительно, что он меня знает. Я более известен, чем Капитолий. Моя слава, пред которой бледнеет известность всех поэтов, сверкает как луч света.

Они спустились на улицу и вскоре уселись за стол таверны у Саларийских ворот, с видом на Кампанию. Таверна была украшена многочисленными фиолетовыми и синими цветами, ее стены красиво обвивала сеть выюнов. Она обслуживала главным образом чужеземцев, а также солдат из гвардии преторианцев. Но в этот ранний час здесь были посетители поскромнее – они ели молча и сосредоточенно. Глядя на них, Зописк отрывисто смеялся.

– Что с тобой? – спросил Амон. – Почему ты смеешься?

– Я смеюсь, потому что там скоро заплачут. – И, поглажи-

вая свою острую бородку, он указал на серый Рим, растянувшийся перед ними.

– Что это значит?

– Я хочу сказать, что христиане и солдаты не уживутся вместе. Если Элагабал растянёт свои праздники, мы кое-что увидим.

– Ты думаешь, что Элагабал, разгоняющий по ночам мирных граждан, надолго вселился во Дворец цезарей?

– Хм... Это могут знать только солдаты.

– Значит, они недовольны императором? Глядя на них, этого не скажешь.

– Конечно, они довольны, но нельзя допускать, чтобы они долго скучали, разглядывая стены Рима из лагеря. А кроме того, Рим есть гнилой плод, заключающий в себе червя. Плод сгниет. А червь – это христианин, охотно принимающий все перемены Элагабала, тогда как поклонник богов не желает перемен. Моя широкая мысль пришла к этому убеждению! Добрые граждане говорят, что если император не вернется к богам Рима, то этим самым он нанесет смертельный удар по империи. Но будем пить и есть! Я ясно все вижу, и ничто мне не мешает жить.

Как будто предвидя гибель империи, Зописк философствовал, продолжая есть и пить маленькими глотками, не забывая фиников и оливок и включив в завтрак, для своей вящей славы, собственные стихи.

Амон начал засыпать. Непобедимый сон закрывал его ве-

ки, ноги вытягивались, и в ярком свете, проникавшем в зеленеющий вход таверны, увитый виноградом, ему грезилось, как молодая блудница зовет его, и старец откусывает кусок мяса от его плеча; Геэль плывет с ним по водам Тибра, а Элагабал набрасывает на него сеть. Затем он вместе с Залем присутствует на собрании христиан, которое рассеивается, точно стая прекрасных ибисов, любующихся своим отражением в Ниле, в голубом Ниле, окаймленном храмами из красного кирпича и неподвижными сфинксами с застывшей усмешкой на губах. Но вот существа и предметы сливаются в сплошной туман, и из его густой глубины поднимаются грозные головы с жестокими ртами, извергающими странные слова. Амон всматривается в эти мелькающие головы и узнает в них христиан, виденных им на собрании Заля.

Увидев, что Амон спит, Зописк перестал философствовать и ушел.

XVII

На Палатинском холме перед Дворцом цезарей, окаймленным портиками из циполина и украшенным садами с растительностью, падающей через стены с округленными окнами и с бронзовыми решетками, толпился народ вокруг группы плясунов. То были: негры с блестящей кожей, обвившие себе руки и ноги живыми змеями, точно браслетами; бородатый карлик с дряблыми, как зоб жабы, ушами; сильные

и крепкие танцоры на канате; дрессировщики обезьян и собак и, наконец, укротитель крокодила, щелкавшего челюстями, – на его горле был широкий медный ошейник, чешуи спины, широкие, как чаши, блестели на солнце. Эта амфибия была пугалом труппы: ибо стоило только укротителю направить ее к месту, куда напирала толпа, как люди в смертельном ужасе отступали назад.

Типохронос сидел на перилах моста, построенного при Калигуле и соединявшего Палатин с Капитолием. Он притаился за этой группой от самого Велабра и теперь, утомленный, зевал. Он лениво смотрел на темные очертания Аркса, за которыми возвышалась колонна Траяна, Маляртимская тюрьма и храмы. Типохронос сознавал, что, бросив свою лавку, он понапрасну потерял время, – хотя, с другой стороны, любопытно было взглянуть на фигляров, которых накануне не принимал Элагабал, – и хотел уже вернуться домой, как вдруг перед ним возникло пятеро незнакомцев.

Один из них, толстый, потный, страдавший сильной одышкой, сказал ему:

– Ты произвел на нас впечатление хорошего гражданина, и потому мы обращаемся к тебе. Мы прибыли из Брундизима.

– Да, – добавил другой, косоглазый и печальный, – только сегодня утром мы въехали в Капенские ворота.

– Мы заблудились в Риме в поисках одного знатного человека, – вновь произнес первый.

– И знаменитого, – добавил другой, вздыхая.

Третий проговорил сдавленным голосом:

– Он имеет большое влияние на божественного императора.

– Атиллий, примицерий преторианской гвардии! – сказал первый.

Четвертый и пятый вытянули головы над плечами остальных и уставились на Типохроноса упорным взглядом своих больших выпуклых глаз.

Цирюльник испуганно вздрогнул и забормотал:

– Атиллий, примицерий преторианской гвардии! Эге-ге-ге!

Он стоял, открыв рот и подняв один палец, точно брил невидимого клиента. Атиллий! Это имя уже несколько недель упоминается римлянами в связи с оргиями Элагабала, его безумствами и попытками покорить Запад пышностью Востока, чтобы затем возродить его в новом качестве, погруженным в сладострастие, роскошь и порок. Рассказывали также, будто Атиллий предложил императору сделать жрецами тех богов, которым приносились жертвы, фигляров-циркачей! И этот молчаливый человек с презрительной складкой у рта, этот выродившийся римлянин появляется всегда в сопровождении своего вольноотпущенника, митра которого слишком напоминала о поклонении Черному Камню!

Думая, что какие-то насмешники хотят над ним позаба-

виться, Типохронос собрался было удалиться, когда первый из вопрошавших сказал своим товарищам:

– Удивительно, граждане Аспренас и Потит! Можно подумать, что знатный Атилий – гроза Рима! Что же мог надевать этот мягкий и спокойный патриций, погруженный всегда в самого себя как какой-нибудь ученый грамматик?

И Туберо, – брундизиец Туберо – стал смеяться, хотя и не без тревоги, так как он и его друзья не ведали, что с ними будет в Риме, где они как раз знают только одного Атилия и не могут его найти. Но четвертый с угрозой в голосе обратился к пятому:

– Этот римлянин, по-видимому, ничего не хочет говорить, Эльва! Свернем ему шею, чтобы посмотреть, каков у него язык?

– Хорошо сказано, Мамер!

Сжав огромные волосатые кулаки, они поднесли их к лицу Типохроноса, синеватому от небритой со вчерашнего дня бороды. Цирюльник вскрикнул. Он быстро толкнул Туберо на худощавую фигуру Аспренаса, ударил затылком Потита в нос и скрылся в людском водовороте. Все произошло мгновенно. Край туники Типохроноса, окаймленный желтым, последний раз сверкнул в толпе, после чего Туберо с достоинством обратился к Мамеру:

– Почему вы не схватили его сразу за горло? Он, наверное, сказал бы.

Из лабиринта улиц, над которыми висел мост Калигулы,

потекла другая толпа, обращавшая на себя внимание странными криками и звонким хохотом. В ней беспорядочно теснились плебеи в рубищах, босоногие рабы, продавцы сала и вареного гороха, кирпичники с берега Тибра из Транстиберинского предместья. Тут же толкались непонятные типы с порочными рожами, которые похлопывали матрон по голым плечам; какие-то дети добивали уже разбитые вазы.

Брундизийцы смотрели и удивлялись. Ниже моста виднелись красные и синие крыши домов; некоторые были выложены блестящими черепицами, сверкающими, как хвосты гигантских павлинов, и террасы высились одна над другой с вывешенными на солнце одеждами. А дальше открывались Пантеон Агриппы с бронзовым куполом и желтые рукава Тибра, широкие и блестящие. На одном из концов моста толпа гнала перед собой проституток плебейских кварталов с крашеными золотисто-рыжими шафранно-желтыми волосами, с развевающимися без пояса одеждами, сквозь которые были видны их волнующиеся тела. Со всех сторон неслись восклицания:

- Антистия, сабинянка!
- Матуа! Галлила, Амма!
- Кордула! Эге, да ты похудела, Кордула!
- Покушай сала, Бебия!

Они шли под градом шуток, некоторые поднимали одежду до самых бедер, другие хватались ладонью за груди, которые пытались укусь похотливые. Толкотня далеко отнесла

брундизийцев, смешав их с проститутками, так что Аспренас единственным своим глазом наткнулся на густо наруганную щеку, Потит ударился лицом о потную спину какой-то матроны, рука Туберо прижалась к бедру Матуи, а на Мамера и Эльву, надеявшихся повеселиться в Риме, неожиданно обрушился град ударов: и их руки отчаянно замелькали над толпой, точно руки утопающих.

Когда они снова собрались, то с трудом узнали друг друга: у Аспренаса красовалось пятно, Туберо к своим добавил запахи Матуи, у Мамера кровоточило ухо, Эльва потирал ушибленную голову, а Потит дышал так часто, будто только что возвратился к жизни. Едва успел Аспренас открыть рот, как преторианцы с мечами в руках стали очищать площадь перед дворцом, куда направились проститутки.

Они ничего не понимали и все казалось им странным. Прибыли они по приказанию Элагабала, направленному именитым гражданам городов, чтобы присутствовать на назначенном в этот самый день бракосочетании Луны и Солнца, в образах финикийской богини Астарот и Черного Камня, бога императора. Послушный Брундизий послал их против их желания в Рим, который они увидели впервые. Не зная, что перед ними Дворец цезарей, они надеялись, что Атиллий откроет им его врата, и в качестве посланцев они будут присутствовать на церемонии венчания, которое, без сомнения, совершится под председательством императора.

Потит и Аспренас уже собирались излить свои жалобы, в

особенности Аспренас, негодующий против Черного Камня и Элагабала, императора-жреца, как к ним подошел человек с бритым лицом, в черной одежде:

– Чужеземцы, вы желаете видеть Дворец цезарей? Он перед вами.

И так как они удивлялись, что, стоя перед Дворцом, не догадались об этом, то человек прибавил:

– Вы прибыли из провинции и хотите видеть императора? Я могу вас проводить.

При этом он дал понять, что это будет стоить несколько золотых солидов, и Туберо вручил их ему. Тогда он назвал себя:

– Чужеземцы, мое имя Атта, и я горжусь, что в Риме нет ученого, подобного мне.

Заметив, что Аспренас смотрит на него своим вымазанным в румянах глазом, он сказал:

– Да, я очень учен и легко могу рассказать тебе твое будущее!..

Предводимые им, они двинулись: впереди Туберо, Аспренас и Потит; за ними Эльва и Мамер, которых взял с собой в качестве слуг Туберо, любивший путешествовать с удобствами. Под портиками, охраняемыми гладиаторами, к ним устремились номенклаторы в пестрых шелковых одеждах. Туберо показал им пластинку из слоновой кости и печатью Брундизиума. Один из номенклаторов оттолкнул Атту:

– Уходи отсюда, собака! Тебя каждый день видят здесь го-

нящимся за иностранцами! Убирайся, собака! – И он ударил его кулаком.

Атта извинился, но, отойдя подальше, крикнул:

– Берегись, раб! Рим еще вспомнит о твоём господине и о тебе также!

И он ушел, поклонившись брундизийцам, которые остались одни под портиками среди провинциалов, рабов и гладиаторов. Люди стекались в вестибюле, вымощенном яркой мозаикой и открытом в глубине яркому свету, слегка смягченному далекой зеленью. Меж больших декоративных колонн на ножках в виде пальмовых листьев, поддерживаемых серебряными кариатидами-атлантами, стояли громадные канделябры, увенчанные лотосами. Во внезапно открывшуюся обширную залу с пурпурными занавесами, вазами на ониксовых и агатовых подставках, ложами и сиденьями, украшенными слоновой костью вошли женщины. Они несли в ивовых корзинах множество цветов: белые и красные лилии, гиацинты, фиалки, сирень, гвоздики, розы, розовые лавры, синие и белые колокольчики; вся флора Рима и Италии была представлена здесь, разливая в ясном воздухе тонкое благоухание.

Пока брундизийцы разглядывали цветочниц, им показалось, что прошел Мадех. Туберо побежал за ним. Но это был другой жрец Солнца, также с митрой на голове; он исчез странной скользкой походкой.

Они двигались с толпой то вперед, то назад, не смея боль-

ше осведомляться об Атиллии, пораженные роскошью вестибюля. На стенах блестели персидские изразцы, расписанные порхающими легкими фигурами на фоне тонких колонн, соединенных сверху легким карнизом. На потолке шел длинный ряд рисунков, обрамленных неземной зеленью с множеством птиц, амуров и обезьян. Драгоценные камни искрились вокруг колоннад; мозаика изображала женщин на спинах кобылиц с рыбьими хвостами, вакханок, откровенно обнаженных, обнимающих гигантских тирсов и белых нимф, обмахивающихся ветвями деревьев. Бесстыдство и призывность изображений обнаженных женщин окончательно запутали воображение брундизийцев.

Они перешли в атрий, окруженный галереей. Иностранцы, римские чиновники, сенаторы, военачальники, посланцы городов, прибывшие со всех концов империи, бродили среди вольноотпущенников и рабов; жрецы Солнца медленно проходили, сверкая желтыми митрами. Оглядывавшим их иностранцам было странно видеть скользящую походку, колебание их торсов, развратный характер всех телодвижений, отражающих таинственное сладострастие, знакомое только Востоку.

В широком бассейне, озаренном косым солнечным лучом, умирал крокодил с бесцветными глазами, высунув пасть из желтой воды, и в глубине бассейна зеленовато-черное длинное тело казалось похожим на балку. Животное обратило к Аспренасу загадочный взгляд, точно удивляясь красному

пятну вокруг его глаза.

Недоумевая, где они находятся и встревоженные этим, они просили, чтобы их отвели к императору. Но одни смеялись над ними, в особенности, когда замечали красное пятно у глаза Аспренаса, другие высокомерно проходили мимо. По временам отодвигалась какая-нибудь завеса, и за ней открывалась зала с золотой и серебряной мебелью, или сады с пышной зеленью, или внутренний двор, заполненный людьми в ярких одеждах.

Из одной из частей дворца раздавались звуки цистр и кифар, варварские мелодии, вой диких зверей, стук мечей, звон кирас и широкий гул толпы, жаждущей увидеть зрелище и сдерживаемой солдатами.

Они прошли через более узкий атрий. Должно быть, они удалились от основных зал, потому что их реже толкали люди, так же грустно, как и они, разыскивающие кого-нибудь из знавших дворец, — тоже чужеземцы, которые отвечали брундизийцам на непонятных языках.

Рев усиливался, им даже показалось, что они видят за раздвинутым занавесом смутный профиль льва, развевающаяся грива которого бросала на озаренную солнцем стену причудливую тень. Они повернули назад и очутились в пустынном дворе; мимо них быстро прошел черный раб; из середины низкого водоема, покрытого плесневеющей зеленью, бил фонтан. Они окончательно перепугались: до них долетали глухие крики, точно вырывавшиеся у людей, которых убива-

ют. Вообразив, что их преследует невидимый отряд вооруженных людей, они бросились в темный проход, встреченные там рядом белых статуй, касавшихся потолка головами, в шлемах гладиаторов или императоров.

Они отворили тяжелую дверь, обитую бронзой, и очутились в узком помещении, на противоположной стороне которого висел занавес, украшенный золотыми ветвями. В глубине комнаты находилось ложе, отделанное слоновой костью, в центре – золотая гепика, а по стенам – вазы: порфиновые с изображением нагих греческих воинов, бросающих палестры, глиняные красные с черными рисунками, голубые, усыпанные драгоценными камнями. На бронзовом столе стояли широкие чаши с эмалевым светло-зеленым дном, склянки с таинственными смесями, предметы, посвященные непонятным приемам удовлетворения сладострастия, – взглянув на них, страшный, красный глаз Аспренаса обратился к потолку, через велум которого лился свет тусклого дня.

XVIII

Туберо отодвинул край завесы. Образовалась светлая щель, и до них донесся чей-то шепот. Они прислушались, широко раскрыв глаза.

На низком ложе с шитой золотом шелковой тканью, опершись локтем о подушки из заячьей шерсти, полулежал отрок Алексиан, который печально смотрел на свою мать, Мам-

мею, сидевшую в гневной позе на скамье из слоновой кости и обнявшую своими руками крепко сжатые колени. Рядом с ней, прислонившись к кафедре с высокой спинкой и склонив голову к квадратному пьедесталу огромной вазы, тоскливо размышляла старая Меза.

Маммея говорила. Она умоляла Мезу, бабушку Элагабала, и Алексиана бежать из дворца вместе с ребенком и с нею, его матерью; открыть римскому народу позорные намерения императора, который готовился отнять у ее сына титул Цезаря и погубить его. И она указывала на людей, которые должны были привести в исполнение этот замысел: на неких Антиохана и Аристомаха, военачальников; Зотика и Гиероклеса, с которыми он предавался разврату; Муриссима, Гордия и Протогена, его слишком интимных друзей, и еще на некоторых людей, жадных до добычи, которую принесет им смерть ребенка. О нет!.. Этот дорогой Алексиан, этот кроткий отрок со спокойным лицом, эта молодая доблестная душа не погибнет! Мир не должен испытать горечи такой утраты, которая заранее возмущает и землю, и небо!

И она глухо добавляла, что в заговоре участвует и сестра ее, Сэмиас, мать Элагабала, которая, не будучи в состоянии удовлетворить своих низменных инстинктов, ночи напролет бегала по лупанарам Рима, распутничала со всеми женщинами и научала разврату девственниц; которая побудила Элагабала ввести культ Солнца не ради чистоты и святости, а исключительно в целях удовлетворения сладостра-

ствия низменных существ. И, одаренная умом, Маммея продолжала рассуждать об этом, придавая целомудренную таинственность своей мысли, а отрок Алексиан смотрел на нее все печальнее.

Тогда Меза попыталась снять вину с Сэмиас, такой же дочери ее, как и Маммеа, и с Элагабала, которого она любила так же, как и Алексиана. И, качая головой, она сказала:

– Я увижу Атиллия, я очарую это бронзовое сердце, которое не знает чувства к женщине и не любит, и не улыбается; но оно услышит Сэмиас, если я уговорю его!

Маммеа слабо усмехнулась:

– Напрасно ты будешь пытаться тронуть Атиллия, которого ничто не трогает. Какую власть можешь ты иметь над ним? Если даже он и угадает чувства Сэмиас, все же он не захочет ничего добиваться от нее. Этот человек всецело поглощен любовью к Мадеху, вольноотпущеннику. Весь мир для него – ничто. Видишь ли, я отведу Алексиана в лагерь, подыму всю армию и вернусь в Рим вместе с ним, будущим императором, наследником недостойного Элагабала.

И, дрожа от волнения, она встала и прижала печально-го Алексиана к своему трепещущему сердцу. Потом порыв нежности прошел, и она заплакала.

– Одна, одна я, чтобы защитить его, чтобы охранять от Антиохана, Зотика, Гиероклеса, Аристомаха, Муриссима, Гордия, Протогена, от раба, скользящего в темноте дверей, от гладиатора, бродящего под портиками; одна я здесь, что-

бы следить за кушаньями и винами и проводить тяжелые ночи у ложа ребенка в то время, как мечи и яды восстают против его жизни. Какое существование, о боги, боги, боги!!

Меца сказала на это:

– Ты моя дочь, как и Сэмиас, и Алексиан такой же внук мне, как и Элагабал. Я буду защищать вас обоих против вас же самих. Как ваша бабушка, я обязана любить вас всех.

Но Маммеа содрогалась, глядя длинные волосы Алексиана, чьи глаза блестели суровостью дикого ребенка, и убеждала Мецу, что Элагабал с помраченным умом и оскверненным телом не достоин любви бабушки, что согласие с ним и с Сэмиас не может длиться долго, и что Меца сама будет принуждена спасти от зараженной ветви корень доблестной и славной семьи. И она сурово добавила:

– Нет, нет, пока я жива, я не допущу его смерти, знай это!

В этот самый момент Мамер споткнулся о бронзовую мебель, которая опрокинулась с шумом. Маммеа выпрямилась, вся дрожа:

– Слышишь! Это там, там! В комнате Сэмиас! Они там, убийцы ребенка!

И она трагически указала на убежище брундизийцев в покоях Сэмиас, матери-императрицы, и, как говорили, правящей империей вместе с Атилием.

Брундизийцы ждали, что на них бросятся рабы, палачи, и уже Аспренас принял покорный вид, как вдруг Маммея, заслонив Алексиана, раздвинула завесу и заметила их.

При виде этих людей, неизвестных ей и невооруженных, она медленно отступила. Ее смутил глаз Аспренаса – круглый, как луна, и красный от румян, он смотрел на нее пристально и сурово.

Устрашенная этой загадкой, Маммеа поспешила в низкую дверь вслед за Мезой и Алексианом. Брундизийцы собрались было вернуться назад, но тут послышались шаги, похожие на женские. Сэмиас?! Потеряв рассудок, они бросились в покои Маммеи и выскочили оттуда через другую дверь, которую распахнул порыв ветра, шедший как бы издалека, где было много воздуха и света. Они очутились в громадном вестибюле с высоким потолком. За вестибюлем открывалась зала, откуда доносились восклицания и выкрики сотен голов.

XIX

- Антонин, святой, почитаемый, божественный император!..
- Антонин, который дал торжество культу Солнца!..
- Который очистил мир!
- Который, будучи сам богом, в совершенстве своего тела изображает совершенство других богов и превосходство начала жизни!..
- Начала жизни, из которого исходит все и без которого ничего бы не существовало!..

– Антонин, из августейшей семьи Антонинов, счастливо именуемый Элагабалом, богом Гор, богом Черного Камня, богом Солнца, богом вечной и нерушимой жизни.

– Наш юный император, чей взгляд подобен молнии грозового неба, чей жест есть приказание, чье желание влечет немедленно исполнение; император, освящающий всякого приближающегося к нему, очищающий того, кто осквернен...

– Антонин, счастливо вдохновленный мыслью соединить браком Астарот с Черным Камнем, Луну с Солнцем, то есть Запад с Востоком, мужское начало с женским началом, солнечное с лунным!

Это было точно грубое жужжание пчел, абсурдное поклонение, умопомрачающий фимиам тысяч иностранцев. Они с утра ожидали приема у императора: германцы с светлыми волосами, кельты с опущенными вниз усами, паннонийцы, фригийцы, греки, азиаты, африканцы из Египта, Мавритании и Эфиопии; лица белые и лица черные; глаза серовато-синие и хладнокровно-жестокые, как у англов, и глаза цвета водорослей, как у скифов. И шумная толпа в пестрых одеяниях изошрялась, надевая Элагабала всеми достоинствами, приписывая ему земное могущество и божественную проницательность, – лишь бы проникнуть к нему сквозь широкую арку, сверкающую мозаиками, охраняемую преторианцами с мечами в руках.

Брундизийцы, влекомые шумевшей толпой, оказались

близ покоев Элагабала. Император возлежал на ложе, возвышающемся на золотых колоннах, окруженный желтыми подушками и коврами, его лицо казалось красноватым от отблесков желтого цвета, рассеянного повсюду, начиная от пола, усыпанного золотым песком, и до залитого золотом потолка. Сильный запах шафрана охватил их. Маги неподвижно стояли в полусвете; волновались военачальники, которых по их грубым манерам можно было принять за выходцев из подозрительных кварталов Рима, если бы не шелковые длинные одежды и драгоценности. Император был почти нагой, иногда кто-нибудь из приближенных благочестиво прикладывался к его телу, в то время как другие громко хохотали. Из-за плеч присутствующих брундизийцы видели Элагабала в непристойной позе, а с ним юношу, которого он называл своим божественным супругом.

– Ужас! Ужас! – воскликнул Аспренас. И его глаз расширился и казался еще краснее прежнего.

Но под натиском толпы преторианцы обозлились. Ударами мечей плашмя они заставили отступить чужестранцев, отвечавших на удары возгласами величайшего обожания:

– Радость и мир божественному Антонину, чье тело есть само совершенство!

– Элагабал есть андрогин, подобно Судьбе!

– Он совмещает в себе оба пола. Слава ему!

И они, отирая испарину со лба, кричали во все горло мерзостные похвалы, желая снова быть свидетелями непристой-

ной сцены и вымаливая себе разрешение облобызать место совершения противоестественного акта. Все, казалось, были в восторге. Никто не жаловался на далекое путешествие или на ожидание у дверей императора, не обращавшего на них никакого внимания, или на неизвестность даты бракосочетания Астарот и Черного Камня. Все это были посланцы городов и провинций, царьки, подвластные империи, знатные граждане побежденных городов, богатые собственники или продажные военачальники, которые прибегали ко всяким злоупотреблениям, чтобы только прибыть в Рим и выказать рабское повиновение Элагабалу.

Аспренас хотел удалиться, он и теперь еще не понимал преимуществ начала жизни. И поводя в разные стороны своим громадным красным глазом, с которого не сходили румяна, он увлек за собой Туберо, а тот, в свою очередь, потянул за одежду Потита, лишь желавшие остаться Эльва и Мамер противились ему.

Все увеличивавшаяся и становившаяся более шумной толпа раздвинулась. Военачальники в шлемах и панцирях силой волокли за собой ребенка, лет десяти, с черными заплетенными волосами, – раба, холеного, как растение, боящееся холода, который отчаянно плакал, цепляясь худыми ножками за ноги быстро отстранявшихся иностранцев.

Вдруг брундизийцы увидели Атиллия.

В страхе и не желая теперь, чтобы он узнал их, они отвернулись, красный глаз Аспренаса остановился на чем-то чер-

ном лице, на котором, в свою очередь, отпечатались румяна блудницы. Между тем Атиллий поднял ребенка и втолкнул его в покои Элагабала; затем он обернулся, встречаемый поклонами, немного бледный, в высоком шлеме, — как консул, возвращающийся с поля боя.

Воцарилось молчание. Затем послышался крик и отчаянные призывы о помощи. Между разъяренным Элагабалом и обнаженным ребенком произошла жестокая, но короткая схватка... Финал этой сцены был привычным: желтое ложе, желтые подушки, надушенные шафраном ткани и тяжелое дыхание дрожащего ребенка, осыпанного золотой пылью...

Наконец чужестранцев впустили к Элагабалу. Они увидели его лежащим на ложе в пурпурном шелковом одеянии, в тиаре, с темными кругами вокруг жестоких, скушающих глаз. Тело его было отполировано пемзой, на груди висел фаллос, на пальцах сияли золотые кольца, его пурпурные сандалии были украшены алмазами выше ступни. Тонкие завитки волос покрывала янтарная пудра. Рабы-негры обмахивали его веерами из громадных павлиньих перьев, а в одном из углов под ледяными взглядами магов мрачно плакал ребенок.

Теперь чужестранцы молчали. Пораженные, они торопились исчезнуть, близко чувствуя мечи преторианцев. Элагабал в это время беспечным жестом приказал убрать свою жертву.

Таким запомнили Элагабала брундизийцы, а с ними и Аспренас, огромный красный глаз которого, похожий на вечер-

нее солнце, все это время, не мигая, смотрел на императора.

XX

Чужестранцы шли к выходу через ряд покоев, на стенах которых были написаны бесстыдные картины: спаривавшиеся животные; приапы на пьедесталах и отдающиеся им де-вы под мрачным взглядом матрон; на красном фоне нагие женщины среди неистовых обезьян; побежденные борцы, насилуемые победителями; а среди колонн, соединенных гирляндами, серебряные фаллосы, растущие на кустах, подобных водорослям. Иногда в глубине зал открывались залитые солнцем дворы, и белые портики шли рядами; внезапно открывались золотистые сады, но когда они хотели войти туда, перед ними вырастали преторианцы с обнаженными мечами. Теперь их пугал все усиливающийся рев львов; казалось, их выпустили на свободу, и они били по полу своими могучими хвостами; чужестранцам мнилось, что они идут теперь навстречу зверям, как будто Элагабал обрек их на съедение. И в тупых головах вспоминались рассказы о людях, брошенных на растерзание львам во время пиров императора. Все дрожали: приятели жались друг к другу, те, кто никогда не разговаривали между собой, стали объясняться на незнакомых языках, англ обнимал скифа, ибериец крепко пожимал руку кельту, египтянин целовал нубийца; иные уже зывали к родным богам. Рев зверей приближался. Вдруг сильный

свет ударил в глаза, и первые, вступившие в пустую залу, ясно увидели перед собой дюжину львов на свободе, которые стали в ряд, точно дрессированные лошади, и начали рычать.

Тогда поднялся страшный крик. Преторианцы сзади ударили людей плоской стороной мечей, даже кололи остриями наиболее упорствующих, боковые бронзовые двери закрывались с жалобным визгом: задние толкали передних, которые, спотыкаясь, падали на землю, но тотчас же вновь подымались и, бледные, с мольбой, становились на колени и целовали землю, а их давили наступавшие сзади; львы били себя хвостами по бокам и вздрагивали, точно большие собаки.

Зала все больше наполнялась людьми, но львы не кидались на них, сами испуганные этим тысячеголосым криком, и только ревели, раскрывая ужасные пасти и царапая пол задними лапами. Наконец, их оттеснил живой поток чужестранцев. Потит и Туберо в первом ряду почувствовали близость звериных морд и легкое прикосновение гривы. Некоторые испытали тяжесть лапы на похолодевшей шее.

Внезапно, под напором толпы, линия львов разорвалась. И тогда, к удивлению всех, животные бесшумно скрылись в дверях по знаку черных рабов, появившихся с железными крючковатыми палками.

И в зале остались только ошеломленные чужестранцы — они поднимались с пола, расправляя конечности, отирали пот и поздравляли друг друга.

XXI

В комнату, где брундиизийцы подслушали Маммею и Мезу, вошла Сэмиас. Небрежная, в разметавшейся столе, с колеблющимися грудями под златотканной субукулой, едва придерживаемой застежками из топазов, с распутившимися сандалиями из белого войлока на обвязанных пересцелисом ногах, — она села на ложе и рассеянно посмотрела на расставленные на полу склянки и чаши, на опрокинутую бронзовую мебель и беспорядок в ее комнате, обличавшей чье-то вторжение. Она подумала, что это, очевидно, сестра ее, Маммеа, хотела убить ее и ее сына Антонина, и пришла в ужас от этого неслыханного замысла. Питая слепую привязанность к сыну, она была готова на все, и безмерная страстность ее материнского чувства скрывала от нее то, что замышляли другие. Она наивно верила в покорное преклонение всей Земли перед ней и им и, всевластная, в своем ослеплении не замечала ни ненависти, ни надежд, ни кровавых слез, ни горестей, ни заговоров, — опасности, ежеминутно угрожавшей ей и ее сыну.

Прием чужестранцев продолжался, и доносившийся до нее шум не возвещал никакой опасности. Вокруг не было ничего примечательного, поэтому Сэмиас ничем не могла объяснить беспорядок в комнате. Она прошла в покои Мезы и Маммеи, но они тоже были пусты. Сэмиас в нерешительно-

сти направилась в гинекей.

Празднества перевернули в нем вверх дном весь порядок: рабы бродили по кубикулам; женщины разбежались кто куда; патрицианки забавлялись с приближенными императора; в закоулках дворца девственницы, обнимаясь, лобзали одна другую. Бесконечная похоть без удержу разлилась повсюду.

Покои Сэмиас были расположены в одном из крыльев дворца, среди садов, где из голубых вод бассейнов под взоры статуй поднимались нимфеи. Она шла все дальше, и шум удалялся от нее. Одни только черные евнухи в митрах из кожи пантеры, с окрашенными киноварью веками бродили по гинекею, падая ниц на ее пути. Она думала про Атиллию, самую любимую из окружавших ее девственниц, сестру Атиллия, молчаливого, таинственного, ярого служителя Черного Камня; никто еще не смог его смягчить, его, вдохновлявшего Антонина и поклявшегося ненавидеть женщин, потому что он не принадлежал еще ни одной; и этого вольноотпущенника Мадеха, нарумяненного и надушенного, бывшего всегда при нем, как тень, стройная, тонкая и изящная!.. И в ней пробуждалась ревность женщины к этой другой любви, ревность, вызванная прежним чувством, которое угадывала Меза. Много лет она знала Атиллия, который восхищал ее в Эмессе, облоченный в пурпурные одежды; и она еще тогда старалась проникнуть в тайны его жизни с вольноотпущенником, в расцвет его грез, плодом которых явилась идея поклонения жизни и живому божеству, из плоти и крови, в ли-

це ее сына Антонина Элагабала; он, будучи андрогином, подобно первичной силе, должен был отдавать свое тело всем, мужчинам и женщинам, ради туманной и необъяснимой тайны творения. И культ этого бога, который был ее сыном, в пятнадцать лет избранным в императоры, этот культ, разлившийся по земле с невероятной быстротой, должен был вытеснить все другие, потому что он был человечен, потому что давал простор страстям, потому что давал широкое толкование философии и религии. Таким путем Атиллий приобрел огромную власть над нею, Сэмиас, и эта власть еще более возрастала, благодаря его воздержанию в отношениях со всеми женщинами. Он отвергал всех, кто хотел оторвать его от Мадеха! Что же это был за человек, который из всех соблазнов империи избрал только один и сохранил при этом холодную трезвость мысли главы религии, защищающего обряд и созидającego культ, чуждый общим верованиям и кажущийся сверхчеловеческим?

Конечно, его мысль, туманная для всех, была ясна ей, Сэмиас, потому что каждое действие Элагабала, посвященное торжеству Черного Камня, было вдохновлено Атиллием, которого она видела на тайных совещаниях, где сама присутствовала для одобрения его действий. Ему был обязан Рим похищением священных Щитов, огня Весты и Палладиума. Ему был обязан Рим и тем, что город превратился во всемирный лупанар, где женщина отдавалась мужчине, ставшему андрогином; и при этом ни женщина, ни мужчина, которые

навсегда бы могли проникнуться отвращением к акту любви, не сознавали этого всеобщего переворота. Атиллию же Рим был обязан и зрелищем бракосочетания Луны и Солнца, то есть двух форм жизни, отныне слитых, как он хотел бы слить и оба пола. Как велик этот Восток, полный Солнца и золота, пахучих цветов, пышных религий, необъятных наслаждений! Восток, отразившийся в душе Атиллия, более победоносного, чем цезарь, заставившего землю преклониться пред одним божеством, но живым – ее сыном Элагабалом Антонином, основателем блистательной грядущей – и последней для человечества, – династии императоров Черного Камня.

И, как женщина неуравновешенная, что во многом объяснялось неупорядоченным образом жизни, но при этом ободряемая снисхождением к нему обитателей Дворца, она поклялась себе щедро, как только может мать императора, вознаградить того, кто приведет Атиллия в ее благоухающие финикийскими ароматами объятия, на ее грудь, уже предвкушающую наслаждения. Как бы поспешно она сейчас, в этой комнате, сбросила с себя ожерелья из бирюзы и жемчугов и браслеты с рук, и с каким бы наслаждением, осушив золотые чаши, она, нагая, отдалась бы ему на этом ложе, пропитанном шафраном и вербеной! И среди бесконечных, никогда не удовлетворенных порывов сладострастия он забыл бы Мадеха, а она, властительница империи, уже в эту ночь в эротическом исступлении бегала бы за мужчинами, подобно Мессалине, другой императрице, служившей ей примером.

Издалека, совсем издалека до нее долетел звук поцелуев, затем юный голос, быть может, голос девы, отдающейся какому-нибудь мужчине. Из недр гинекея исходил этот крик страсти, подобный радужному цветку вечно активной любви, которую он заключал в себе. Охваченная истомой, Сэмиас медленно шла сквозь ряд комнат, украшенных мозаикой и золотом и ведущих к портикам, под которыми разгуливали, сверкая, чванливые павлины. Она увидела в глубине одного из дворов башню, украшенную драгоценными камнями, покрытую ценными металлами. Когда-то Элагабал приказал воздвигнуть эту башню, чтобы броситься с нее в тот день, когда римский народ захочет отнять у него власть. Теперь башня одиноко возвышалась, подобная громадному фаллосу, в варварском сверкании ониксов, сардониксов, агатов, аметистов, хризолитов, перламутра и кораллов, с занавесями багряного и пурпурного цвета, которые колыхались на вершине, как кровавые знамена. И горесть овладела ею. В ее памяти воскресла смерть императоров, брошенных в клоаки, заколотых и задушенных, вспомнились ей восстания преторианцев, потоки крови, краснее, чем занавески этой торжественной и немой башни, резня людей и избиение мужчин и женщин, происходившие в дни таких событий. О, нет! Нет! И, освящая пороки Элагабала его величественным званием жреца, она думала, – как перед этим сестра ее Маммеа об Александре, – что этот дорогой Антонин, этот тихий отрок со спокойным ликом, эта молодая доблестная душа не может

погибнуть. Мир не должен быть потрясен этой потерей, которая уже заранее возмущает и землю, и небо.

Но снова раздались отчетливые и беспрестанно повторяющиеся звуки поцелуев. И среди них она теперь ясно расслышала голос, только один голос — голос девственницы, который показался ей знакомым. Он шел с другого этажа, с лестницы, скрытой завесой, и туда направилась Сэмиас.

В круглой наподобие храмовой залы комнате с желобчатыми пилястрами по стенам, Атиллия, белая в дневном свете, падающим с потолка, совершенно нагая, любовалась своим стройным телом, тонкостью бедер, движениями своей высокой груди, на которую падали ее окрашенные в яркий цвет волосы. Она рассматривала себя в большое стальное зеркало, подымая поочередно руки, и это от нее исходили звуки слов и поцелуев, слышанные Сэмиас. Фиолетовые глаза со все усиливающейся синевой страсти у орбит остановились на Сэмиас, которая медленно вошла, молчаливая и печальная.

Девушка и женщина переглянулись, причем Сэмиас как бы завидовала солнечным грезам, золотившим сердце Атилии, ей было досадно, что она, Сэмиас, для того, чтобы возбудить себя видом своего тела, должна была окружать себя славой и чудовищными измышлениями, — тогда внешность изощренно меняла линии, краски и ощущения, опьяняя ее. Сэмиас вспомнила себя в те давно прошедшие времена, когда чрево ее еще ожидало Элагабала, будущего власти-

теля мира. Среди пышных картин Сирии пробудил ее голос жизни и бросил в объятия мужчине, которого она никогда потом не видала таким прекрасным, богоподобным, чарующим; вспомнила она безнадежную изменчивость ее теперешних любовных утех, свои отчаянные поиски самца в притонах Рима, – и это казалось ей падением. Атилия, которая все еще продолжала стоять обнаженной, напомнила ей брата нежностью своего профиля, взглядом своих фиолетовых глаз и необыкновенной живостью лица. И тогда вдруг Сэмиас в неистовстве схватила молодую девушку, притянула ее к себе и, поцеловав в грудь, стала ласкать ее тело, а улыбающаяся Атилия покорно отдалась прикосновениям ее нервных рук.

XXII

Чужестранцы шумно шли, снова преследуемые преторианцами. Некоторые из упорствовавших были убиты, а остальные, испуганные, ступали по их крови, которая текла повсюду. За бронзовой дверью им открылся бесконечно длинный коридор, и они вошли в него. Теперь они уже не ликовали в честь императора, не приписывали ему сверхчеловеческих свойств, не расточали ему хвалы за то, что он задумал сочетать браком Луну и Солнце, сделал из Черного Камня символ жизни и осмелился поставить себя богом, – он, человек! Единственной их заботой было уйти возможно

скорее из этого дворца, где их убивали, из дворца, в котором жили львы. Но – и это было совершенно неожиданно – первые, достигшие конца коридора, вскрикнули с облегчением, настолько их очаровало то, что они увидели.

Они попали в громадную залу, похожую на внутренность храма, ее желобчатые колонны с капителями из толстых акантовых листьев поддерживали разделенный золочеными балками потолок, круговая галерея с оградой и портиками из красноватого мрамора отделяла эту залу от других.

Их изумленным взорам открылись желтые ложа, пурпурные занавесы, вазы на ониксовых подставках, ткани из гетейской шерсти, канделябры, бассейны с водой, сверкающие в садах. На полу – мозаики с изображениями варварских триумфов императоров, пленения народов и битв, спящих золотом броней и шлемов, восхождения на Капитолий и квадриг, запряженных белыми лошадьми, несущимися по аренам цирков. На потолке – химерическая живопись, ярко-синие моря, узорчатые корабли, преследуемые группами дельфинов и плывущие к розовым берегам; фантастические города под белыми небесами со стенами, опирающимися одна на другую, ворота и охраняющие их нагие амур, женщины, которых обнимают в цветущих рощах; а в портиках дверей – симметричные узоры из золотых и серебряных пластинок.

Победное пение! Чужестранцы видят, как бы в апофеозе, Элагабала, которого несут маги на золотом троне; внезапно в залу врываются фигляры и проститутки этого утра, мело-

дии их флейт, цистр, кротал, тимпанов, барабанов, железных труб, кифар и арф сливаются в странно резких звуках. Император ложится на высоко поставленную сигму; направо от него – Гиероклес, налево – Зотик, властный фаворит, в широкой одежде, в сандалиях, завязанных, как у женщины, раскрашенный и сладострастный; Элагабал целует поочередно их глаза.

Рабы ставят стол на треножник перед сигмой, появляется процессия жрецов Солнца; дрессировщики ведут львов и леопардов, и их грозные тени падают на залитые солнцем стены. Император подымает золотой кратер под взглядами неподвижных магов; проститутки бегут от преследования в соседние залы, где происходит грубое сближение полов. На них смотрят чужестранцы, забывшие недавние опасности. И инструменты, как бы прислушиваясь друг к другу, звучат то торжественно, то жалобно.

Благовония вьются дымными спиралями, смягчая резкость убранства, даже изменяя очертания предметов. Теперь чужестранцы становятся свидетелями вещей, о которых они не могли даже и грезить, и как будто опьянение Элагабала передалось и им, – они громко обсуждают каждый жест императора, каждое блюдо, которое ему подают, каждое появление новых лиц. По бокам от него устанавливают другие столы и еще столы, и на сигмах с пурпурными подушками располагаются обжоры, пьют из чаш непристойной формы, – диатрет и акратофор, – вино из полэи и вино из мастики,

которого Рим тогда еще не знал. Иностранцы называют друг другу блюда: копыта верблюдов и гребешки, срезанные с живых петухов, павлиньи и соловьиные языки; внутренности мулов на серебряных подносах, поставленных на спины бесстыдных силенов, протянувших ноги в золотые кусты; мозги феникоптер, яйца куропаток, головы попугаев и фазанов в чеканных сковородках. Рабы и рабыни в шелковых пурпурных одеждах, с заплетенными в тонкие косы волосами как бы плывут по полу, усыпанному лилиями, розами, нарциссами и гиацинтами, извиваясь телом и покачивая станом, точно в каком-нибудь восточном танце, под громкий аккомпанемент инструментов и пение жрецов Солнца, прославляющих Черный Камень.

Элагабал, по-видимому, пресыщен и отказывается от великолепных блюд, которые приводят в восхищение иностранцев. А вокруг продолжается попойка, наполняя дворец страшным шумом, в то время как разврат бушует в соседних залах, на коврах и на шкурах животных, на ступенях, под портиками и в садах: повсюду! повсюду! повсюду! Точно Элагабал с высоты своей сигмы направляет силы сладострастия; иногда он рукоплещет тому, кто многократно направляется на борьбу жизни, куда он сам хотел бы побежать, если б Гиероклес и Зотик не удерживали его. Настала очередь фигляров: один пляшет на канате, держа в руках амфору, полную воды; другой заставляет змею становиться на хвосте и подпрыгивать под звуки флейты; третий борется с обезья-

нами, одетыми, как гладиаторы; четвертый заставляет собак всходить по лестнице и прыгать сквозь кольца. Но главный успех имеет ручной крокодил, который то свертывается шаром, то хватается за мечи и идет в сражение, точно воин. Он трижды открывает пасть при упоминании божественного имени Элагабала, потом перевортывается на свою чешуйчатую спину и наконец с визгом ползет к его ногам, чтобы лизать их. Прекрасная забава – крокодил! Император доволен, но, боясь, что такой артист может показывать свое искусство какому-то другому императору, он приказывает жестом увести его вместе с его хозяином, и гладиаторы убивают обоих ударами палок с железными наконечниками, раскаленными на огне.

Ах!!

Увы!.. Страх снова овладевает иностранцами, которые думают, что это убийство человека и животного, у них на глазах, может закончиться и их собственной смертью в этом дворце, полном львов, леопардов, гладиаторов и преторианцев. Они ничего не ели с самого утра и были страшно голодны, о чем наконец вспомнил Элагабал; номенклатор возвещает им, что благодарный за их подчинение, за их покорность и любовь, император предоставляет им Дворец цезарей с его погребями, полными хороших вин, с его гигантскими кухнями и кладовыми, где хранится свиное вымя и окорока, чечевица, бобы, горошек и рис, смешанный с аэролитами, а также виноград из Апаimei, которым он кормит своих

лошадей. Настроение гостей улучшается. Рабы ставят столы перед их ложами и складными сиденьями. А в это время, ко всеобщему удивлению, мгновенно наступает ночь, и на некотором расстоянии друг от друга зажигаются канделябры.

Изумленные брундизийцы замечают, что эту самую залу с внутренней галереей они уже видели сегодня утром, когда туда были впущены цветочницы. Стуча блюдами, мнистрисы, с салфеткой у пояса, предлагают кушанья этой тысяче чужестранцев, и те набрасываются на них с жадностью.

Но что это такое?!

И чужестранцы снова поражены; подняв руки и раскрыв рты, они роняют императорские блюда, удивительно подделанные из воска под те яства, которые только что вкушал Элагабал. Им предлагают другие, которые они отталкивают угрюмо и злобно. Вино, это – окрашенная вода, хлеб – разри-сованный мрамор, фрукты – лакированная глина. И все это им подносят на великолепных золотых, серебряных и бронзовых подносах.

Но наконец они действительно начинают есть: им перестали подавать блюда-подделки, а угостили сосисками из рыбы, смешанной с истертой раковиной устриц, пирожками из ин-дейского перца с подливкой из урины львов, скорлупой лан-густов, омаров и черепах; ногами орлов, чешуей крокодилов, копытами диких ослов, соусами из шерсти леопардов и – в меду – пауками, застывшими вместе с паутиной, казавшейся шелковой. Да, это был приятный пир для голодных чу-

жестранцев! И для Аспренаса, который, оглядывая галерею своим единственным глазом, похожим на диск из окровавленного мяса, вдруг испустил крик ужаса.

Откуда-то внезапно появившиеся рабы бросали на пораженных гостей груды цветов, виденных утром. Голубой, белый, фиолетовый дождь! Гвоздики и розы, гиацинты и лилии падают им на головы, сыпятся с плеч, покрывают их лоджа. Дождь становится чаще, подобно вихрю многоцветной пыли, которая выделяет удушливый аромат. И ужаснее всего то, что вокруг них, по колени засыпанных цветами, закрываются все двери.

А! Умереть вот так, после того как они только что избежали львов! И инстинктивно, ища спасения, они устремляются к центру залы, но и там неумолимые цветы настигают их потоком своих лепестков. Они пытаются взобраться на галерею, взлезают на канделябры; но цветы все падают и падают и душат их.

Вот они уже по пояс в цветах!

Потеряв всякую надежду на спасение, они покоряются судьбе и молятся своим богам, плачут и бьют себя в грудь в этой пытке цветами, подобно матросам в бурю. Рабы непрерывно продолжают бросать на них цветы, делая это с какой-то яростью, с чувством ненависти к господам, которые владеют такими же рабами, как они.

Цветы по горло!

Теперь это было бурное море цветов, и над ним возвы-

шались измученные головы и умоляющие руки, олицетворяющие жестокость Элагабала. И это море при свете канделябров прибывало как во время сильного прилива, топя постепенно англа и кельта, иберийца и скифа, египтянина и нубийца, явившихся на бракосочетание Луны и Солнца, чтобы присоединиться к новому культу, рукоплескать его оргиям и отречься таким образом от своей родины, своего народа и своих богов.

Но вот дождь цветов прекратился, рабы удалились с пустыми корзинами.

Раскрываются двери. Свет становится ярче. Цветы высыпаются в проходы. Слабо движутся тела. И освобождаются англ и кельт, ибериец и скиф, египтянин и нубиец, подавленные, бледные, точно пробужденные от сна; они обнимаются и дают себе клятву, что никогда боги не увидят их в этом дворце, где их едва не растерзали львы, где они ели пауков и чешую крокодила и где их коварно топили в цветах. Тогда они удаляются, не без жалости бросая взгляд на трупы задохнувшихся, среди которых Туберо, Потит, Мамер и Эльва видят Аспренаса с его красным, круглым, как щит, открытым, мрачным и недоумевающим глазом!

XXVII

Маленький домик скромно приютился в Каринском квартале. Благодаря его изолированности ничто не долетало до

него: ни шум Рима, ни торжество бракосочетания Луны и Солнца, продолжавшееся несколько дней, ни неистовство толпы, сбежавшейся к воротам, чтобы посмотреть на чужеземцев, на этот раз действительно уезжавших.

Привратник спал в своей комнате; рабы бродили медленно и молчаливо, обезьяна смотрела на крокодила в бассейне, волшебный павлин сиял своим хвостом, и деревья сада тихо покачивались с нежным шепотом, который слышался в доме, от вестибюля до перистилля.

Месяцы прошли с тех пор, как Геэль последний раз был в этом доме.

Послышался стук в дверь, и привратник проснулся. Кто-то ждал на улице, не смея войти в дом Атиллия. При виде пришедшего привратник отступил. Он не знал этого краснолицего человека с вьющимися волосами, в простом плаще ремесленника, так решительно обратившегося к нему:

– Янитор, я хочу видеть Мадеха, вольноотпущенника могущественного Атиллия! Он же мой брат из Сирии, где мы оба были детьми.

Привратник не отвечал, не смея не только открыть рта, но даже закрыть дверь перед Геэлем, которого он теперь вспомнил. Его смутила одежда простого работника, не соответствовавшая великолепию дома, который он охранял, и блистательным одеяниям Атиллия и Мадеха. И он стоял, рассуждая, что не принять этого человека, близкого к Мадеху, небезопасно, а принять – это навлечь на себя неприятность.

Тем не менее он решился.

— Вольноотпущенник Мадех находится у моего господина Атиллия, — при этом он поклонился, — который вместе с тем и твой господин, и господин Рима, после божественного императора. Но увидеть его затруднительно. Разве ты не знаешь, что вольноотпущенник Мадех уже давно живет в Палатине и никогда не бывает здесь?

— Ты лжешь, ты лжешь, янитор! — вскрикнул Геэль, не в силах поверить отсутствию своего сирийского брата. — Он живет здесь, и я не приходил раньше только потому, что не желал его беспокоить. Но я хочу его видеть. Он не забыл меня, а если правда, что он не хочет больше встречаться со мной, так я узнаю это от него, он сам мне скажет об этом.

И, отстранив привратника, все еще колебавшегося, вытолкать его или нет, он ворвался в дом одним прыжком. Обезьяна завизжала, павлин блеснул хвостом, крокодил высунул голову из бассейна и долго всматривался в сирийца, как будто он узнал лицо друга.

Геэль терпеливо ждал Мадеха. Привратник солгал, говорил он себе, чтобы убедить его в отсутствии Мадеха. И, видя этот атрий, свидетеля его душевных излияний перед своим сирийским братом, эти расписанные стены, уголок сада, тихо волнующегося, и двери таинственных кубиков, из которых, высунув голову, рассматривали его любопытные рабы, он пришел в сильное волнение: ему вспомнился Мадех, тонкий и изящный, со звонким голосом, со странными покачи-

ваниями стана, которые, однако, не казались ему неприятными. Почему он, Геэль, чувствовал к нему это необъяснимое влечение? А потому, что солнечная страна пела в его воспоминаниях и пели его отроческие годы, внезапно прерванные бурей восстания одной сирийской области; судьба бросила его в лагерь бунтовщиков, а Мадеха сделала рабом Атиллия. Эта настойчивость юных воспоминаний запечатлела в нем образ друга так ярко, что, несмотря на прошедшие долгие годы, ему понадобился всего лишь взгляд, чтобы узнать Мадеха.

Но грусть овладела им, хотя он и не чувствовал никакой зависти при виде спокойной роскоши этого дома; годы их разлуки терзали его, грызли сердце мрачными картинами пережитых страданий и опасности, картинами ужасных часов, проведенных в борьбе с римскими солдатами, жестокими к восставшим; часов неравной борьбы, пожаров городов и храмов, быстрой победы покорителя мира над восставшими и поражений, кончившихся их истреблением. Он пережил все это, в то время как Мадех, избалованный, хорошо одетый и сытый, посвященный Солнцу и отданный Атиллию, прожил счастливые годы во дворце из мрамора и золота. Конечно, если бы Крейстос не заповедовал милосердие и отречение от радостей, то как бы жаловался Геэль на несправедливую судьбу.

Мадех все еще не появлялся. Раздосадованный Геэль вернулся к привратнику, и тот сказал ему:

– Я говорил тебе! Ты хотел показать мне упорство, я посоветую тебе терпение. Жди вольноотпущенника! Долго ты будешь ждать его.

Геэль не верил привратнику. Он не мог себе представить, чтобы Мадех никогда не возвратился больше в это спокойное жилище и чтобы он жил неведомо где. И он спросил у привратника:

– Ты, кажется, сказал мне, что он живет во Дворце цезарей?

Но он не хотел позволить убедить себя; что-то подсказывало ему, что Мадех должен вернуться. Привратник больше не обращал на него внимания, и так как рабы не гнали его вон, он прошел в перистиль, куда выходили дубовые двери комнат, украшенные фаллосами. Вокруг него шелестели шаги, шаги смущенных рабов, которые, особенно не надоедая ему, все же ограничивали свободу его передвижения по дому.

Здесь все было пышно и грустно! По углам, на треножниках в виде химер, стояли вазы, дымящиеся благовониями; в отдельной комнате он увидел сигму с пурпурными подушками и бронзовые шкафы, забитые свитками рукописей, другие комнаты изящно украшались глиняными вазами. Полы были устланы коврами с изображениями крокодилов, заглатывающих гигантских кузнечиков, и диких растений, возносящихся к зеленовато-синему небу. С потолка свисали серебристые шелковые ткани, едва волнующиеся под легким

дыханием ветра и рождающие ощущение нежности и интимной мистической жизни с ее тайными волнениями; у стен стояли связки золотого азиатского оружия и уродливые идо­лы из стран более далеких, чем Сирия, более далеких, чем земли, некогда покоренные Александром Великим, где были люди с желтыми лицами, узкими глазами и речью, звенящей, как колокольчик.

Геэль очутился перед кругообразной дверью, здесь гора­рий отмечал часы, и он вспомнил, что видел это и раньше в каком-то городе, название которого забыл. Он нажал на дверь, и она отворилась. Геэль оказался в узком храме, с куполообразным потолком; в круглое отверстие проглядывал клочок безоблачного синего неба; на колонках в виде ал­таря пьедестал из драгоценных камней поддерживал сверкаю­щий черный конус. На карнизах – маленькие изваяния еги­петских и финикийских богов, изображения символическо­го Т, жаровни с курящимися благовониями; на треножнике – неугасаемый огонь священной Весты и большое изображе­ние Крейстоса, не похожего на того, которому поклонялся Геэль: с черными волосами, черной кожей, черными, как у индийца с Ганга, глазами и черными руками, вытянутыми вдоль черной верхней черты Т, с каплями крови на фоне чер­ного звездного неба.

Геэль смутился. Он представлял себе Крейстоса совер­шенно другим: бледнокожим, как олицетворение белой ра­сы-победительницы. Он хотел уже было вернуться назад, как

вдруг снаружи поднялся сильный шум. И вдруг он ясно слышал голос Атиллия, кричавшего:

– Схватить его! Бросить его крокодилу! Он осквернил мой дом!

Эти угрозы относились к Геэлю, и неумолимый Атиллий уже подал рабам нужный знак. Но тут появился Мадех, который, видя опасность и не понимая, как появился Геэль, бросился в его объятия, умоляя Атиллия:

– Это мой друг, мой брат из Сирии, ты знаешь, тот самый, которому ты позволил меня навещать! Это Геэль! Геэль!

Атиллий смиростивился, бросив пристальный взгляд на друзей. И этот взгляд как бы с сожалением остановился на Мадехе; бессознательная ревность сдвинула его необычайное сердце в мучительном колебании – огорчить вольноотпущенника или уступить дружбе, о которой он умолял. Но в прекрасных глазах Мадеха было столько покорности и любви, что Атиллий не выдержал и, взяв его нежную и надушенную руку, поднес ее к своим губам и сказал:

– Хорошо. Если бы я с самого начала знал, что это твой брат из Сирии, я оставил бы его в покое. Беседуй с ним в мире.

Он пошел в свои покои, несколько раз все-таки обернувшись, а друзья направились в атрий.

Сидя на бронзовой биселлии, они стали беседовать под визги обезьяны, дразнящей то сверкающего павлина, то томного крокодила. Геэль жаловался, что Мадех не попытался

ни разу увидеть его, как обещал.

– Вот уже восемь долгих месяцев прошло, – сказал он, – и полная луна восемь раз светила с тех пор. Я ждал тебя, не смея сам прийти к тебе. Один раз я увидел тебя и позвал, но ты не заметил меня и не слышал.

Геэль стал говорить ему о торжествах в храме Солнца, когда он, Мадех, ехал на коне рядом с императорской семьей, улыбаясь молодой девушке, и не замечал, как в двух шагах от него брат его, Геэль, надрывался, призывая его. Мадех смутился:

– О да, я был прекрасен и радостен тогда, и она прекрасна, она, моя Атиллия!

Он остановился, подумав, что сказал слишком много. Геэль поразился:

– Тебя это удручает? Я не буду больше говорить об этом. Но ведь я же имею право спросить, что делал ты эти восемь месяцев, в течение которых я был лишен тебя! Знай, что не было ни одного дня, когда бы я не подумал о моем брате Мадехе! А ты ни разу не вспомнил обо мне! Скажи же почему?

По непонятной причине Мадех безмолвствовал. Наконец, медленно и с тайным страданием, сквозившим в его словах, он произнес:

– Разве я мог думать о тебе в эти месяцы, проведенные с Атиллием, который слишком любит меня, и с Атиллией, которая приводит меня в отчаяние? К тому же в этом дворце душа не может свободно искать другую душу.

Сердце Геэля сжалось. Мадех казался ему объатым скрытой болезнью, которая изнуряла его тело, расширяла глаза, делала неровной кожу лица, подернутого легкими складками, обостряла его голос и отяжеляла движения, прежде такие пластичные. Страшная мысль пронеслась в голове Геэля, и он с ужасом заметил:

– Тебя убивает Атиллий, он убивает тебя! О, несчастье! Гнусность! – И христианское целомудрие возмущалось за Мадеха, подчиненного Атиллию. Крейстос один лишь может спасти от зла, потому что он ведет к совершенству, отвлекая от зверя и греха. И он уже собирался сказать об этом Мадеху, но тот воскликнул:

– О, если б ты знал, как я скучаю в Риме среди этого шума, торжеств и постоянного пира!.. Он тоже скучает... и мы оба страдаем, и сердце мое тает вдали от свободы и покоя... я чувствую, что я уже не тот, каким был прежде... чувствую, что такое существование не может продолжаться среди окружающей меня пустоты; мне недостает чего-то иного, что не исходит от Атиллия, но отвечает каким-то моим новым желаниям, которых я не знаю и нить которых я ищу. Я скажу тебе об этом в тот день, когда прояснится мой мозг, окруженный теперь мраком, несмотря на то, что я жрец Солнца, света и жизни.

Геэль дал ему высказаться, стараясь понять источник всех бед, но он не мог найти его, настолько безнадежно погрузился Мадех в мистический лабиринт своей страдающей ду-

ши. Он понял, однако, что бесконечно усталый Мадех тайно страдает от Атиллия и от Атилли и что в нем неожиданно и безотчетно, — как бы в состоянии сомнамбулизма — проявилось чувство мужчины, зрелость, протестующая против подчинения его тела, властная потребность развития природных сил, ростка, на котором пока лишь выросли неестественные цветы. И когда Геэль, в утешение, обрисовал ему свою личную жизнь, полную лишений и страданий, хотя и не душевных, но не менее тяжких, Мадех ответил ему, сжимая его в объятиях, со слезами, точно пророчествуя:

— Ах, брат, жить далеко от Рима, далеко от города, и быть свободным, свободным, как ты! Что значат твои лишения! У меня есть все, и я скучаю и отчаиваюсь и хотел бы умереть, не имея возможности свободно дышать. Все говорит мне, что мир страдает от избытка радостей, наслаждений, благовоний, музыки и сладострастия. Мстит изначальный бог, непоколебимо царящий в небытии, из которого нам не надо было уходить. Мое страдание — это страдание мира!

Книга II

I

Под ярко-синим небом турмы конницы, под предводительством декуриона с копьем и луком в руке, с развевающимися знаменами, с громом криков и топотом коней мчались в лагерь преторианцев. Было более ста турм, каждая из тридцати двух всадников, по восьми в ряд, под общим предводительством их примицерия Атиллия, в шлеме и панцире, в развевающейся багряной хламиде и с обнаженным мечом. Они выступили из квартала Высокой Тропы, чтобы развернуться вдаль от терм Диоклетиана, огромный квадрат которых примыкал к старой, еще уцелевшей стене Тарквиния. Каждый из отрядов принадлежал к какой-нибудь народности, подчиненной Риму, или к союзной или к латинской, и праздные зеваки различали их. Италики, эфироты, дорийцы, фригийцы, каппадокийцы, германцы, кельты, бретонцы, иберы, мавры, нумидийцы, либийцы, египтяне, эфиопы, индийцы, персы, скифы, македоняне, эсклавоны, драки, сарматы, — представители всех покоренных народов были в числе смелых всадников, которые, как живая мускулатура империи, держали ее судьбу на острие своих мечей.

Жгучее лето покрывало сверкающими блесками сосны и

кипарисы римской Кампании и разбросанные порознь виллы с окрашенными в желтый цвет портиками. Всадники сияли золотыми панцирями и золотыми шлемами, одни с копьями или короткими топорами, другие с широкими кинжалами из чеканной бронзы. Лошади грызли серебряные удила, соединенные с роговой уздой с украшениями из слоновой кости. Но особенно блестящи были катафрактари, с головы до ног облеченные в золотую кольчугу, обтягивавшую их тело и придававшую им вид гибких змей-рептилий. На шее у них были ожерелья из драгоценных камней, а на пальцах и в ушах кольца.

Во главе каждого отряда энеаторы играли на длинных медных трубах, изогнутых на конце; их звуки резали воздух, настоящая воинская ярость потрясала окрестность.

За конницей следовала пехота: три легиона из десяти тысяч человек, разделенные на когорты по шестисот, а когорты – на манипулы по двести человек. Солдаты шли быстрым шагом, их ноги походили на громадные ножницы, то открывавшиеся, то закрывавшиеся. Впереди шли разведчики; сбоку – центурионы, с виноградными лозами в руках; развевались знамена, различные для каждой когорты, а тридцать трибунов всех трех легионов передавали команды движений, подаваемые консулами. Последние имели смешной вид: внезапно возведенные в это важное звание Элагабалом, – хотя только еще недавно они вышли из подозрительных мест, – они обливались потом, тучные, неуверенные на своих безум-

но-порывистых конях; а трибуны втихомолку издевались над ними.

И грозный гул музыки врезался в топот этих тысяч людей; трубы, рожки и букцины яростно ревели. Но вот отряды конницы, а за ними и пехотинцы скрылись в лагере преторианцев, и скоро в окрестностях не стало видно ничего, кроме сосен и кипарисов, сверкающих яркими блестками, и разбросанных порознь вилл, с окрашенными в желтый цвет портиками.

Атиллий сошел с лошади; вокруг него турмы входили в свои помещения. Лагерные слуги уводили лошадей в конюшни, крытые копнами сена; другие помогали военачальникам разоружаться. Одни из воинов соединяли свои копья в связки, другие шли к водоемам; щиты, сложенные на земле, бросали отблески на сваи, а перед палатками железные шлемы сверкали, точно металлические блюда.

Аристомах и Антиохан присоединились к Атиллию. Они медленно обошли лагерь, обнесенный широким рвом и земляным валом, с частоколом. Между собой они не говорили, точно хранили какую-то тайну.

Из верхней части лагеря была видна преторианская гвардия, ее кони были без седел, с недоуздом; палатки стояли правильными рядами, по одной на десять человек. Префекты с мечами под скрещенными руками обошли эту часть лагеря вдоль и поперек, вплоть до свободного форума, где в каменной постройке хранились знамена, жертвенники богов

и изображение божественного Антонина, перед которым горели серебряные лампы.

На окраине лагеря, на мраморных пьедесталах возвышались статуи молодого цезаря – Алексиана. Сын Маммеи, в одежде мужа, стоял, вытянув руки, с непокрытой головой, в гордой позе будущего императора. Солдаты окружали эти изваяния, но при появлении Атиллия с его товарищами разбежались. По едва заметным жестам, по уклончивым словам офицеров и солдат Атиллий угадывал назревающий заговор против императора. И главным образом его тревожило это спокойствие армии, отсутствие доказательств, которых он жадно искал. С некоторого времени он чувствовал охлаждение мира к Элагабалу, медленное угасание веры в Черный Камень, и под влиянием внушенных с детства понятий он спрашивал себя, не будут ли боги мстить за то, что они были на время повержены сирийским конусом?

И он пожалел о тихой роскоши Эмесса, о днях, проведенных с Мадехом во дворце, куда не достигал никакой шум извне. И, бросившись безвозвратно в сексуальную революцию римского мира, достигнет ли он, провозвестник новой религии, когда-нибудь всемирного распространения любви, андрогина, символа первичной силы, неведомого бога, высшего, чем хаос и время, апостолом которых он был? Несмотря на пример Элагабала и его приближенных, и самого Атиллия, мир возвращался к сексуальной раздельности: женщину любили как женщину, мужчину как мужчину, и соблазни-

тельный опыт любви, ставшей символом культа жизни, постепенно умирал. Естественная любовь восставала везде, вопия о том, что ею пренебрегали, и угрожая всякому, кто будет противиться ее расцвету, приостановленному на миг искусственной любовью.

Но эта форма любви – была ли она только искусственным настроением чувств, только фантазией сердца? Атиллий углублялся в себя и делал вывод, что он апостол этой любви, потому что действительно чувствует ее в себе, хранит ее, мучительно истекающую кровью, в своем сердце, терзаемом этой любовью, еще не вырванной из него. Разве его чувство к Мадеху, эта одинокая, бешеная и умиленная привязанность, которая превращала прекрасного и толстого сирийца в подобие одной из пышных женщин, надушенных и купающихся в молоке и светлом масле, разве это не было настоящей любовью? Так думал Атиллий и упорно в своих мечтах вызывал видение мужской близости, которая, пройдя через века, приведет к созданию человечества, объединяющего оба пола в одном индивидууме, в андрогине восточных мифов.

Разумеется, это не голубые и розовые цветы первой любви к женщине, это черный цветок с черной чашечкой и лепестками, тень которого отуманивала его мозг, как очертание фаллоса. Но этот черный цвет был цветом высшего божества, непрестанно бросавшего во время и пространство те формы жизни, которые горят другими красками. Эти формы

разнообразны, они имеют пол и другие особенности, но само божество неизменно и остается неподвижным – как ночь, как тень или небытие. И это ощущение черного хранило черное племя, некогда повелевавшее Азией и Европой, в черном лике бога, с руками, распростертыми на эфиопском Т, живом символе, извращенном новыми представлениями человечества, отрицающего андрогина, из которого оно произошло, и твердо желающего увековечить разделение полов.

Антиохан и Аристоммах бросали по сторонам долгие взгляды, стараясь уловить невидимый заговор. Армия, как огромный зверь, съезжилась на земле: солдаты приветствовали их, центурионы и трибуны поспешно уступали им дорогу, всадники отводили лошадей в сторону. И они могли только заметить, что вокруг статуи Элагабала, на перекрестках лагерных дорог, было пустынно, и они мрачно истолковали это, как начало падения его империи.

Они остановились у Декуманских ворот, построенных против Преторианских ворот, и Антиохан, полный, мускулистый человек с быстрыми движениями, начал уверять, что в настоящее время нет никакой опасности... Вдруг толпы солдат с жестами и криками ворвались в лагерь: гастарии смешались с велитами, легкая конница с тяжелой, всех было более тысячи. Атиллий, Аристоммах и Антиохан уже хотели звать трибунов, когда другие солдаты привели двух человек, поднимавших руки к небу: седобородого старца в широкой шляпе и молодого человека с непокрытой головой, – оба с

бесстрашным видом.

Солдаты не обращались с ними грубо, даже относились к ним с некоторым вниманием. Но при этом кричали:

– В преторию! В преторию!

Увидев примицерия и его товарищей, они разбежались, некоторых задержали подоспевшие с копьями преторианцы.

Атиллий не знал этих людей, но ему показалось, что голос молодого человека он где-то уже слышал раньше. Не понимая причины своего смятения, он стал их расспрашивать.

– Меня зовут Магло. Я служитель Крейстоса и его проповедник. Убей меня, влей расплавленный свинец в мои жилы, брось меня зверям, растерзай меня на клочки, но я не перестану прославлять Его и кричать о мерзости разврата!

– А ты? – спросил Атиллий второго, который спокойно сложил руки крестом на своей тунике.

– Мое имя Заль. Я пришел с братом моим Магло, чтобы исповедовать Крейстоса.

– Уйдите! Уйдите! – воскликнул Атиллий. – Вы христиане! Что сделала вам империя? Она дает вам полную свободу, и император принял вашего Бога в свои храмы! Разве этого не довольно?

И он отстранил их, но, подумав, вернул и строго спросил:

– Зачем вы смущаете войско и кто вами руководит? Отвечайте, или я сокрошу вас всей тяжестью законов империи!

Но слова его были проникнуты некоторой снисходительностью, так как трогательное учение христиан, более глубо-

ко проникавшее в тайники его души, чем религия Черного Камня, давно овладело им, хотя он и не признавался себе в этом. И хотя христиане были врагами, он беспокоился о них, он чувствовал себя почти принадлежавшим к ним, благодаря общему отращению к богам и поискам божественного единства. Его обезоруживала и таинственность их собраний, где, как ему казалось, они также прославляли начало жизни. И он думал на основании долетавших до него слухов о некоторых сближениях в религиозных понятиях, что, быть может, он найдет среди христиан поддержку адептов Черного Камня, которую ему не удалось встретить среди поклонников других богов. Но Магло воскликнул с отчаянием:

– Атиллий, ты пророк греха! Ты научил их разврату Содомы! Горе, горе тебе, твоей семье, твоему племени, твоей империи! Содом сожжет твои чресла! Ты был зачат во зле и умрешь чрез зло!

Он пророчествовал в бешенстве, узнав Атиллия, которого он видел на триумфе Элагабала. И с того дня ужас пред этим именем непрестанно витал над Римом, полный злобы, гнева и презрения.

Заль пытался успокоить Магло, так как христиане все еще не пришли к единому мнению в своем отношении к новому культу: одни, памятуя апокалипсис, как гелвет, относились к нему с ужасом, другие, как перс, внушающий свои убеждения всем людям Востока, считали его переходной ступенью от политеизма к христианству. Антиохан схватил Магло за

руку и, грубо тряся ее, проговорил:

– Замолчи, старая собака! Скажи нам, чего ты ждал от солдат?!

Тогда Магло упал на колени; из-под покрасневших век потекли обильные слезы, и, охваченный порывом мученичества, умиления, экстаза, нежности, он вознес славу Крейсто-су. Антиохан ударил его ногой, и тот упал. Заль благочестиво поднял старца. Поняв, что ничего не добьется, Атиллий велел отпустить их, и они гордо удалились. Магло, поддерживаемый Залем, горько упрекнул его:

– Брат мой, голуби несли мне пальмы мученичества, а грех овладевал тобой. Атиллий слушал, как ты оправдывал его гнусность, потому что вместе с другими верующими ты видишь в Содоме преддверие истинного пути. Но Содом сжигает все и сожжет тебя также, если ты коснешься его.

II

Антиохан и Аристомах приказали отвести задержанных солдат в суд, и так как со всех сторон поднималась тревога, то они распорядились, чтобы особая стража окружила форум; преторианцы поскакали по улицам лагеря среди возрастающего шума. Сходились трибуны всех легионов, а с ними префекты конницы и центурионы первых манипул. Дисциплина требовала немедленного разбирательства, и потому приступили к допросу. Подсудимые ответили, что они задер-

жали обоих христиан за то, что те поносили законы среди солдат. Но это показалось подозрительным военачальникам: простые христиане не могли вызвать такого переполоха, да и потом, почему же до сих пор враждебная к ним армия вдруг проявила снисходительность? Один из солдат ответил:

– Старец, брат молодого, призывал гнев своего Бога на божественную особу императора, и предсказывал его падение. Мы остановили его кощунственную речь, но другие хотели, чтобы он продолжал, так как, говорили они, империя скоро перейдет в другие руки.

Антиохан, обычно грубый, ударил этого солдата, а Аристомах заткнул себе уши. Но трибуны, префекты и судьи закричали:

– Скажи нам, скажи нам, кто наследует, по словам этих бунтовщиков, божественному Антонину?

– Цезарь Алексиан, отрок Алексиан, сын Маммеи, – ответил солдат.

Все побледнели, не смея продолжать допроса, смутно чувствуя, что империя Черного Камня теряет силу и что, желая предотвратить ее падение, они рискуют своими чинами, своим положением и своей жизнью. Они поднялись со своих мест несмотря на протест Атиллия.

– Оставьте их в покое, – сказали они. – Теперь опасно быть строгим, потом мы исправим это.

Атиллий, печальный, удалился и затем вместе с Антиоханом и Аристомахом медленно выехал верхом на коне из ла-

геря.

Вскоре на их пути показались виллы, обсаженные розовыми лаврами; вокруг них в голубом небе рисовались портики; изредка то здесь, то там чернели линии кипарисов и сосен. Потянулись погребальные сооружения с надписями на венчающих их урнах, говорящими о смерти среди необыкновенной римской жизни. Затем вдали открылись холмы и вершины зданий Рима, точно копья, позолоченные жарким солнцем. Сидя на конях, они видели начало Саларийской, Ардеатинской и Аппиевой дорог, разветвляющихся в разные стороны. И вся песчаная равнина развернулась перед ними. Атиллий по обыкновению молчал; Антиохан со злости награждал свою лошадь ударами кулаков, а Аристоммах восклицал:

– Изменники, нечестивцы, клятвопреступники, лгуны, негодяи!

Он мог только говорить эти слова, а Антиохан – только бить животное. Один из них был каппадокиец, другой нумидиец – и хотя оба латинизированные, но варварское происхождение не способствовало проблескам их ума.

Они ехали по редкой траве; вдруг Атиллий крикнул и пустил лошадь вскачь. Двое других последовали за ним галопом по этой узкой, тщательно обработанной долине, и рабы расступались перед ними, угадывая в них сановников. Затем они выехали на заброшенное поле, пересекаемое Саларийской дорогой. Вдруг Атиллий остановился, пораженный:

– Я их ясно видел! Почему они исчезли?

Он объяснил своим товарищам, что только что видел, как две человеческих тени внезапно сгнули в землю, точно поглощенные ею. Однако никакого следа этого исчезновения они не могли обнаружить; и так как Атиллий собирался осматривать все поле, то Антиохан и Аристомах стали его отговаривать, опасаясь, что то были маны неведомых мертвецов. И оба они дрожали, подавленные ребяческим страхом.

Но там, в глубине, где тянулись полосы яркой травы, среди чертополоха с тощими ветвями, постоянно возникали и исчезали все новые и новые тени. Но откуда они появлялись и где потом скрывались – это оставалось загадкой. Им ясно было одно: все происходило в песчаной части поля, – и тогда они вспомнили древние предания о могилах христиан, скрытых в щелях земли. Атиллий, любопытный до всего, что касалось христианства, хотел убедиться, облечены ли эти тени в плоть и кровь, но Аристомах и Антиохан удержали его.

– Зачем проникать в эту тайну? – убеждал Антиохан. – Пусть они приблизятся, и мы заколем их мечами! Но они слишком далеко, и нам не поймать их.

– Смрадные маны, христиане, полные заразы, плуты и воры! – проговорил Аристомах. – Пусть только приблизятся, и я убью их во второй раз!

Они возвращались и угрожали, но не смотрели больше на горизонт, боясь там снова увидеть подозрительные тени.

Вскоре они подъехали к Саларийским воротам, через которые входили люди, идущие в город, — преимущественно бедняки, со своими жалкими повозками, плетеными из ивовых прутьев и нагруженными сломанной мебелью и грязными пожитками. На одной тумбе сидела женщина, опустив голову на руки, полузакрытая распущенными волосами. Услышав конский топот, она поднялась и стала посреди дороги.

— Вы не убили его? Не замучили? Не заключили в тюрьму? — воскликнула она.

Трепещущая и прекрасная, она откинула край паллы; ее волосы падали на плечи, и белая одежда плотно облегла ее стройное тело. Ее черные влажные глаза с мольбой обратились к Атиллию, и этим она покорила его. Он решил, что это не женщина из народа, но супруга или вдова какого-нибудь знатного римлянина, который добровольно устранил себя от дел империи.

— О ком ты говоришь? — спросил он, сдержав жестом своих товарищей, готовых проехать мимо.

— О Зале, персианине, он ушел в лагерь со старцем, и я его больше не видела.

Она ответила без определенной надежды, но заметив их седла из кожи пантеры, их панцири с выпуклыми украшениями, шлемы с золотыми узорами и драгоценными камнями, медные наколенники и их оружие, она догадалась, что это были высшие военачальники, которые могут сообщить ей о

судьбе Магло и Заля. Великая тревога и в то же время великая нежность светились в ее взгляде.

– Я приказал отпустить их обоих, женщина, – сказал Атиллий. – Если ты их не видала, то, наверное, потому, что они прошли через другие ворота.

– Если только солдаты не убили их в пути! – грубо проговорил Антиохан, желая испугать побледневшую женщину.

– Твое имя? – крикнул Аристомах. – Ты христианка, как Заль и как Магло, не так ли?

– Да, я христианка и зовут меня Северой, – ответила она быстро, уходя со слезами на глазах.

– Зачем ты вздумал пугать ее? – тихо заметил Атиллий. – Наверное, она любит этого Заля, который молод и бесстрашен, но нам-то что до этого? Любовь есть любовь.

Им овладело сострадание, когда он подумал, что и он любит и любит безумно!.. вольноотпущенника, овладевшего всецело его сердцем. Эта любовь делала его несчастным, так как мир, восставая против его символизации Черного Камня, допускал только любовь двух различных полов.

Они уже собирались въехать в город по Саларийской дороге, как вдруг раздались крики. В нескольких шагах от них была таверна с открытыми ставнями, над которыми качалась сосновая шишка. Множество солдат сидело на скамьях перед маленькими круглыми столами, в ярком свете солнца. При появлении начальников солдаты удалились с почтительными приветствиями, хотя Атиллий и крикнул им, чтобы

они остались.

Поручив коней смущенному хозяину таверны, они пошли внутрь помещения, сначала показавшегося им совсем опустевшим. Но на краю каменного водоема, предназначавшегося для мытья глиняной посуды, в полутемном углу, стоял какой-то человек, худой, с непокрытой головой, в грязной тоге, безжизненно падавшей складками вдоль его дрожащего тела; он шевелил свитком папируса в руке и, увидев, что его заметили, стал кричать:

– Нет, это не для тех, но для вас троих, достославные граждане, я, Зописк, известный во всей империи, написал эти поэмы!

И Зописк сошел, смущенный появлением трех военачальников, в шлемах и панцирях, сияющих золотом. Он лихорадочно собирал в кучу куски папируса, разбросанные по столам. Антиохан схватил один из них.

– Простите меня, я забавлял их, я льстил им, я составлял стихи для их возлюбленных и с обращением к фортуне, чтобы она благоприятствовала им, но моя поэма только для вас троих, достославные! Я прочту ее, если позволите.

Он развертывал свой манускрипт, тот самый, который Амон считал посвященным богам Зому, Нуму и Апепи, – поэму о Венере. Он собирался читать ее, на ходу меняя имена, но его остановили.

Подозрительный Аристоммах, опустив свою широкую бороду на плечо Антиохана, с трудом начал читать по складам

латинские буквы, но Зописк поспешно помог ему.

Это была короткая строфа о достоинствах некоей Бебии, заказанная ему одним солдатом. Зописк имел многих клиентов, влюбленных, которые заказывали для женщин стихи. И, несмотря на желание Аристомаха прочитав их все, поэт скрыл в складках своей тоги те папирусы, которые успел схватить раньше.

– Я могу, достославные, написать для вас такие же стихи! Приказывайте! Нужно ли воспеть доблести войска, непобедимый меч Рима, высокую волю императора? За несколько ассов, всего!

Но они расстались с ним, и, пока садились на коней, Зописк, нисколько не смущаясь, бегал вокруг них, держа в руках свои манускрипты с удивительными посвящениями:

– О достославные! Меня знают во всей империи, и никто не сравнится со мной в сочинении поэмы в честь ваших достоинств и вашего значения! Вот эта посвящена вам, и я прочту ее, когда только вам будет угодно.

Они вернулись в Рим через Эсквилин, людные улицы которого были полны шума. В этом квартале многие из граждан, вольноотпущенников и рабов были еще в состоянии отупения после празднества Черного Камня, которое справлял Антонин. В течение трех дней происходила колоссальная манифестация в честь начала жизни, обожаемого в форме Черного Камня и в образе Элагабала. Он был написан во весь рост, в одеянии жреца Солнца, длинном и с широкими

рукавами, в тиаре, в неописуемом апофеозе золота, ароматов, плясок и песен. В течение трех дней народ видел это необычное изображение, возимое на колеснице, отделанной металлами и драгоценными камнями, запряженной тридцатью шестью конями, тщательно расчесанными, в богатых пополах и с золочеными копытами. И эта колесница, которой не касались человеческие руки, несла на себе только одно это изумительное изображение, а живой Элагабал, идя спиной вперед, почтительно правил лошадьми, среди стражей, оберегавших его от падения, и рабов, бросавших ему под ноги золотой порошок, отмечавший пройденный им путь. В течение трех дней необузданное веселье разворачивалось в виде грубых процессий, при свете факелов, среди разбросанных повсюду цветочных гирлянд, под звуки варварской музыки Черного Камня, объединявшей вместе флейты-скрипки, простые флейты, двойные, золотые и камышовые флейты с тимпанами, обтянутыми овечьей кожей, с медными кимвалами, с широкими арфами, с гордыми фригийскими лирами, с изогнутыми трубами, с цистрами из железа и слоновой кости, с барабанами из одного выжженного внутри ствола дерева, на которых играли изогнутой палочкой. По всему Риму шел колоссальный пир и лились потоками вина, а в цирках устраивались игры, где текла кровь гладиаторов и пленников и царил разврат между мужчинами и женщинами, между мужчинами и мужчинами, в особенности с жрецами Солнца; и это гнилое болото порока расцветало под ярким

полуденным солнцем и при ночных факелах, в притворах и на ступенях храмов, под портиками, на перекрестках и площадях, в термах, садах, — невзирая ни на каких свидетелей. И поставив своего бога в храмы Солнца среди других богов, среди патрицианских приношений, императорских знамен и позолоченной, узорчатой и эмалированной мебели, с наглыми формами грудей нагих сирен и спокойных львиных голов, Элагабал бросал с высокой башни золотые и серебряные вазы, одеяния и ткани, в то время как в городе были выпущены на свободу дикие звери. Люди погибали, но что за важность!... Антонин Элагабал чествовал Черный Камень; символу жизни еще раз было совершено служение, и какое служение! Потом он вернулся в сады дворца старой надежды, где недавно поселился; его сопровождала армия, которую затем Атилий отвел вместе со своей конницей в лагерь преторианцев.

Пьяные валялись на пути примицерия и его товарищей; полуодетые женщины показывали свои отвратительные бедра; рабы обнажались в закоулках, отроки с гнусными движениями бежали за ними, привлеченные блеском их одежд, шлемов и брони. На узкой улице под ярким солнечным диском мужчина и женщина отдавались друг другу под отеческим взором жреца Кибелы и, ничуть не смущенные, в откровенной наготе своих тел, они как бы приглашали зрителей принять участие в торжестве жизни. Музыканты, играя на флейтах и тимпанах, кружились в облаке золотой пыли

под звуки меди, дополняя обряды жрецов Солнца, покушавшихся на гнусное сближение. Иногда, опутив глаза и закрыв лицо концом тоги, проходили люди, не желавшие ни видеть, ни слышать ничего этого, а другие бежали за ними с поднятыми кулаками, и тогда поток глухих ударов оставлял кровавые следы на стенах и на земле. То были христиане или евреи, последние обыкновенно в черном; чтобы не принимать участия в празднестве, они спасались с безумной поспешностью, преследуемые по пятам разъяренными людьми, и в ужасе призывая, одни – Крейстоса, другие – Иегову.

Всадники свернули к Целию; хотя то был и аристократический квартал, но празднество заканчивалось там новой, еще более сильной вспышкой, с колоссальным проявлением пьянства, обжорства и разврата. Чтобы продвигаться скорее, они пустили коней вскачь. Задавленные люди падали, толпа оттеснялась, упорно желая остаться на месте. Жрецы – галлы, появившиеся из какой-то улицы, преследовали женщину, в которой Атиллий узнал Северу. Он поспешил к ней на помощь и ударил мечом одного из преследователей, который свалился, истекая кровью. Другие разбежались с поднятыми руками, преследуемые Антиоханом и Аристомахом, в которых это всеобщее опьянение вином вызвало опьянение крови.

– Благодарю, благодарю, – сказала Севера.

Она быстро ушла, испуганная, закрывая лицо, а Атиллий следил пристально за ней, в то время как его конь мордой

толкал тело умирающего жреца. На миг она обернулась с движением признательности и исчезла в каком-то доме.

— Должно быть, там жилище Заля, — промолвил Антиохан, гордый своей победой, так как он убил еще одного галла, и тот в судорогах лежал невдалеке. Антиохан не ошибся: Севера вошла в дом Заля, который был также домом и Зописка, как раз в это время показавшегося в конце улицы с неизменным свитком в руке.

III

Мадех лежал на ложе с бронзовыми ножками. На нем была одежда с висячими рукавами; завитые волосы были сильно надушены вербеной. На его груди, округлой, как грудь девушки, лежал амулет.

Когда ему было тоскливо, он часто выходил из своей комнаты в атрий, оттуда в перистиль и дальше в сад — маленький, как разложенная тога, но таинственный и глухой; в нем росли деревья и цветы, напоминавшие ему далекую родину. Он любил сидеть здесь на мраморном кресле и часами наблюдать мир зелени, среди которой лучи солнца играли, как сверкающие мечи, — он наслаждался началом вечного забвения... Но оно быстро нарушалось течением внешней жизни, ему запрещенной.

Что случилось с Атиллием? Прежде он не был таким, ревниво охраняющим его, Мадеха, словно мучающимся созна-

нием того, что наступающая зрелость вольноотпущенника пробуждает его для новой жизни.

Конечно, Мадех все еще тосковал о Востоке с его пальмами, сальсолами, кактусами, лестницами храмов и дворцов, по которым восходили жрецы, такие же, как он, и императоры, как Элагабал, среди людей, несущих благовония и ткани на позолоченных подносах. И эту жизнь там, почти растворяющую человека в вечности, он мечтал здесь начать вновь с Атиллием, еще не до конца развращенным безумием нового культа, и с Атиллией, поразившей его своей красотой. Но это желание в нем все чаще сопровождалось вялостью мысли, заглушающей стремление к независимости, – горизонты устремлений его души не простирались дальше влюбленных взглядов и улыбок. Он, Мадех, принес себя в жертву Атиллии, его любви, казавшейся бесконечной, потому что она была телесной. Считая себя созданным для воцарения андрогина, он смотрел на себя, как на существо среднее между мужчиной и женщиной, как на слияние двух полов, – как бы на опыт жизненного начала для создания определенной формы будущего существа, которое, как учил его Атиллий, будет соединять в себе оба пола и зарождать само от себя.

Вытянувшись на своем ложе, он ждал Атиллия, не имея желания общаться с фамилией, то есть с толпой рабов, которые следили за порядком в доме. Мадех стоял выше их по образованию и развитию, благородство отличало цвет его тонкой кожи и прекрасных глаз. Его положение в доме дава-

ло ему право командовать ими, но Мадеху не хотелось знать ни их имена, ни национальность или вероисповедание, — он не хотел даже думать о них.

Раздался звук шагов, и он вздрогнул. Внезапно раздвинулась завеса, и вся в блеске пурпура и золота, звеня драгоценностями и самоцветными камнями, в сияющей шелковой одежде, появилась Атиллия. Шедшая за ней старая эфиопка с красной тканью на голове тут же исчезла, оставив их одних.

Атиллия не испытывала робости. Громко смеясь, она усеелась в высокое кресло, соблазнительно вытянув ногу и устремив взгляд своих фиолетовых глаз на смутившегося Мадеха. Хотя причуды в империи Черного Камня, казалось, должны были приучить его ко всему, тем не менее его удивила смелая раскованность Атиллии, еще девственницы. Ускользнув из гинекея, она теперь вела себя как женщина, как Сэмиас, которой подражала. А Сэмиас получала удовольствие не только от того, что отдавалась всем подряд, — она еще и председательствовала в сенате женщин, где знатные дамы рассуждали о любви, о драгоценностях, одеждах и прическах, о красках, лошадях, носилках и о способах украшать их и управлять ими. Атиллия вынесла из этой школы смелость и распутство блудницы. В ней трепетало сладострастие, множась, звучали поцелуи, которые она почитала за любовь, и мужское начало всегда стояло перед ее отуманенным взором. В Риме тысячи таких же девственниц, как она, уже умудренных, свободных, покидали гинекей и настраивались

против мужчины, уклонялись от него, чтобы, в свою очередь, создать в дали времен андрогину, объединяющую в одном существе мужчину и женщину.

Атиллия была очень изящна, очень нервна и соблазнительна! Мерцающим светом глаз она напоминала Атиллия, как будто чрезмерная возбужденность ее искусственной жизни привела к раздвоению ее личности. Брат ни слова не говорил ей о своем доме в Каринах, но она жаждала увидеть Мадеха. Ее страсть и изощренное воображение создали из него существо изящное, благоухающее, таинственно сходное с ней самой и так не похожее на других мужчин. Поэтому-то она и приказала эфиопке следить за Атиллием. Однажды, идя следом за примицерием, Хабарраха легко разыскала дом, откуда, как узнала Атиллия, Мадех не выходил уже несколько месяцев. И тогда помчаться с Хабаррахой, пересечь Палатин, взобраться по улицам Целия в бешеном беге убранных золотой попоной мулов и постучаться в дом брата – было для Атиллии делом одного мгновения... На стенах дома она увидела картины, изображающие всевозможные извращения любви, – и это вызвало в ней громкий смех, в особенности ее смешили полотна, на которых женщины, в борьбе страсти победоносно опрокидывали под себя совершенно обнаженных мужчин.

Когда она вошла к Мадеху, то перед глазами ее все еще стояли эти безумства, и она предвидела забавы вдвоем, предчувствуя раздражающие наслаждения девственницы, вызы-

ваемые легкими прикосновениями к коже.

– Э, Мадех! Ты смотришь на меня глазами крокодила! Встрепенись, отрок! Взгляни на меня! Я убежала с Палати-на с Хабаррахой, чтобы видеть тебя, чтобы говорить и сме-яться с тобой, развлекать тебя, отрок, и развлекаться самой. Пойдем! Проводи меня в покои моего брата Атиллия и дай мне увидеть их наконец. Я видела павлина, распутившего свой хвост, и обезьяну, которая сделала мне гримасу, и ра-бов, убежавших от меня. И янитора, который смутился при моем появлении. Разве он сердит на меня, этот янитор? Что-бы сделать ему удовольствие, я посоветую ему поцеловать губы Хабаррахи.

Она встала, прижалась к Мадеху, взяла его за руку, под-несла ее к губам и рассмеялась:

– О! От тебя хорошо пахнет, как и от меня!

И она поднесла к его ноздрям свою руку, чтобы он вдох-нул аромат ее кожи. Затем она села на ложе Мадеха, взяла его за руку и усадила рядом с собой. При этом движении од-на из ее белых ног с браслетами на лодыжке и с завязками сандалий из красного войлока наполовину открылась.

– Не правда ли, как изумительно красива эта нога! Бани и пемза постоянно заботятся о ней, – воскликнула она.

Он не в силах был вымолвить слова: его взгляд был при-кован к ее ноге, которую она покачивала нервно и быстро, откинув переливчатую ткань платья. Внезапно она положи-ла ногу на его колени, обнажив ее всю.

– Она лучше твоей ноги, – сказала Атиллия. – Ты не показываешь мне свою. Что с тобой?

Она опустила ногу на пол и приподняла край шелковой одежды Мадеха. Он позволял ей делать, что ей было угодно, покорный и безучастный, как если бы перед ним был ребенок. Но она захотела откинуть выше его одежду. Тогда он со сдержанным смехом, но в некотором смущении привстал, говоря:

– Нет! Нет! Нельзя!

Повторяя «Нет, нет!» он стал медленно отходить от ложа. Атиллия подскочила к нему, бросилась на шкуры пантер, сложенные в углу, и села, скрестив ноги по-восточному, так что из-под ее бедер были видны изогнутые носки сандалий.

– Иди сюда! Будем играть в кости!

Но в доме не было костей, и Мадех сказал ей об этом. Он предложил спросить их у янителя или послать Хабарраху к какому-нибудь торговцу квартала, но Атиллия воспротивилась этому.

Она сняла с себя ожерелья, браслеты и кольца и стала подбрасывать их, придумывая игры. Смеясь, она бросила ему одну из этих вещей, и та упала между его сложенными крест-накрест ногами. Она схватила ее, при этом нежно проведя по его коже чуткими пальцами. Мадех сильно разволновался, он по-идиотски, в упор, смотрел ей в глаза. Атиллия резко притянула его к себе, и он упал ей прямо на грудь. Смеясь, она опрокинулась на шкуры – строфиум, охватывающий ее

стан, порвался. Мадех с трудом высвободился. Не привыкший к таким играм, он хотел уже выйти в сад, чтобы там немного отдышаться, а заодно и позвать рабов, чтобы эта сцена больше не повторилась, как вдруг она вскочила и удержала его, смеющаяся и неуголимая:

– Э! Что ты имеешь против меня, отрок? Что сделала я тебе? Мы так хорошо провели бы время, если б ты только хотел.

Она завязывала распутившуюся сандалию, высоко поставив ногу на кафедру, и снова рассмеялась, глядя на него снизу:

– Подойди! Завяжи мне ее! Я люблю, чтобы узел был сбоку. Но, смотри, не порви ленты.

Он покорно обвязал ее икру лентами и сделал бант посредине. В этот момент Атиллия склонилась на него всем телом и страстно крикнула:

– Неси меня! Подними меня! Я хочу знать, мужчина ли ты, который может похитить женщину!

Всем своим весом она опустила на его плечи, рискуя опрокинуть. Страшно взволнованный, он понес ее, не говоря больше ни слова. Атиллию решительно нравилось, чтоб он ее носил, и когда он дошел до конца комнаты, она попросила его еще раз проделать этот путь.

Наконец, она спрыгнула на пол, очень веселая, и обняла рукой стан вольноотпущенника; она предложила ему отдохнуть на ее груди и даже готова была нести его на плечах.

Но занавес открылся, и появилась Хабарраха с гримасой, открывшей белые зубы на ее широком черном лице:

– Надо уходить! Оставаться дольше нельзя! Тебя уже ищут.

– В сенате женщин, – сказала Атиллия со скукой. – Однако я хотела бы видеть брата.

– Брату неприятно будет увидеть тебя здесь!

Она упорствовала, но более благоразумный Мадех советовал ей удалиться, хотя и чувствовал, что ее отъезд принес бы ему тоску в сердце. Атиллия наполнила на миг его жизнь шумом, смехом и радостью, она пробудила в нем смущение, которое и мучило, и в то же время очаровывало его; она вливала в него могучий огонь жизни и движения. Даже в ее готовности отдаться светилось блаженство – для него это было как бы проникновение в недра какой-то солнечной природы цветов и ручейков, и он долго дышал их ароматом.

– Я вернусь к тебе, мы будем забавляться, мы будем носить друг друга на руках, будем играть в кости, ты будешь так же смеяться, как я! – крикнула ему Атиллия, которая, сделав, точно в танце, прыжок, исчезла в звоне своих драгоценностей, в шелесте столы и в шуршании сандалий.

– Не говори твоему господину, что сестра его Атиллия была здесь, – посоветовала Хабарраха привратнику, который кланялся с восхищением.

Атиллия же, напротив, крикнула ему:

– Скажи моему брату Атилию, что маленькая Атиллия

ждала его здесь и вернется, чтобы увидеться с ним.

IV

Между Ардеатинской и Аппиевой дорогами тянулись ряды вилл, которые подразделялись на городские, сельские и доходные; в первых имелись столовые, спальни, скамьи и сады с террасами, другие являлись жилищами рабов, хлева-ми, сараями и птичниках. При более обширных виллах были великолепные сады; оттуда восхищенному взору открывалась радостная голубая даль, неподвижная зелень, вода, струящаяся во рвах, окаймленных ивовым кустарником и густо засаженными грядами.

Довольно большой была вилла Глиция, из рода Клавдиев, давшего Риму одного диктатора. В настоящее же время Глиция был очень богатый патриций, ворчун и чудах, уже в двадцать пять лет удалившийся от дел, чтобы наблюдать за своим латуком и плодами. У него было несколько рабов – ровно столько, сколько нужно; садовник в определенное время по-стригал деревья; виноградник покрывал землю у подножия холма, на котором стоял легкий бельведер. Оттуда открывался чудесный вид на Рим, на сеть дорог, наполненных путешественниками, солдатами и чиновниками, на виллы, тянущиеся до Сабинских гор, на акведуки, мавзолеи и желтый клочок Тибра, сливающегося с голубым морем.

Глиция бродил под портиком своего сада с блестящим

бассейном для рыб посередине, под тенью высоких роз, поднимавшихся над землей, точно камыш. Он слегка кашлял, несмотря на лето. Вдруг быстро прикрыв горло краем тоги, он скрестил руки над головой с жестом отчаяния. Перед ним тянулись сараи и житницы, крытые розовой черепицей, группы кипарисов, беседки из тонких жердей в тени, столь дорогой для часов его отдыха, затем уступами шли виноградники, поверх которых виднелись на фоне неба обнаженные головы рабов. Он смотрел на все это, покашливая, как будто озябший и чем-то встревоженный. Но вот он крикнул, страшно заикаясь, отчего глаза его сделались совсем круглыми:

– Руска! Руска!

На этот зов прибежал старый раб в коричневой тунике и деревянных сандалиях. Его розовое лицо избородили морщины, череп был ослепительно-белым.

– Что, этот старик уже окончил свой обед? Не подвергнемся ли мы снова вторжению этих людей?

– Старик поел, – ответил Руска, – но он не хочет уходить. Геэль еще не вернулся. Заля не видно уже несколько дней. Христианам, по-видимому, хорошо в Риме, потому что они не приходят сюда больше.

– Ну а раз им хорошо в Риме, – сказал, покашливая, Глиция, – так пусть они там и остаются. Я же поклялся, что ноги моей не будет там до тех пор, пока империя не будет снова принадлежать римлянам, а не иностранцам. Я отверг пред-

ложения Септимия, Каракаллы и Макрина; я был с Пертинаксом, но Пертинакс умер, и мне ничего не надо. Пусть оставят меня в покое. То, что ты говоришь о христианах, меня не удивляет; они в хороших отношениях с сирийскими императорами, которые покровительствуют их культу, а Рим теперь принадлежит им: они хорошо знают это.

– Не то утверждает Магло, – отважился сказать Руска. – Он порицает Северу за то, что она, как и Заль, и Геэль, и некоторые другие христиане, которых она здесь принимает, верит, что Элагабал послан им, чтобы помочь свергнуть других богов.

– Ах, он и не думает утверждать этого! И все же Севера рукоплещет Элагабалу! – резко вскрикнул Глиция. – Я чувствовал, я предугадывал, что Севера будет рукоплескать всему, что захотят христиане, которые имеют на нее влияние.

– Севера добра и слаба, – сказал Руска. – Это не может иметь никаких последствий. И затем, чего хочет женщина, того хочет и Юпитер.

Глиция качал головой и покашливал, поднимая плечи и все еще заворачивая горло концом тоги. Раздался шум шагов. Позади них протянулась тень палки, длинная, пересекающая тень широкой шляпы с полями, опустившимися, как два вороньих крыла. И Магло, пообедавший в доме Северы, то есть в доме Глиция, ее супруга, появился, подняв свой посох и протягивая свободную руку, как бы для благословения.

– Вы поклонники ложных богов, – сказал он, – поэтому

мне остается только стряхнуть с моих сандалий вашу пыль и молиться за вас Крейстосу.

Он повернулся в сторону. Но затем, прежде чем они успели ему ответить, спохватился:

– Я могу научить вас основам веры, просветить вас и утешить в лоне Агнца, которого я вижу одесную. Дух же витает над ним.

И, принимая Руску за Глициа, не замечая разницы между грубой туникой и тонкой тогой, он прибавил:

– Очи Северы, твоей супруги, видят свет, но, к несчастью, она разделяет мысли Заля относительно Элагабала и его мерзостей. Я, Магло, утверждаю, что грех есть грех, и что эта империя на глиняных ногах упадет, подобно зверю, в объятия смерти.

Глициа сдержал подступивший к горлу кашель:

– Значит, ты полагаешь, что Элагабалу еще недолго властвовать? Это мне нравится, да, это мне нравится!

Он повторил последние слова, опершись рукой на плечо Руски. При нем впервые предвещали близкую гибель императора. Магло поднял посох и продолжал пророчествовать:

– Пасть смерти поглотит не только Элагабала Антонина, но и империю, этого зверя на глиняных ногах. Предвещаю это. Слава Крейстоса воссядет на место низверженного зверя, и церковь будет жить вечно, несмотря на грех.

– Ты хочешь сказать, – спросил Глициа, – что империя будет существовать, но без императора?

– Да! – воскликнул Магло в порыве внезапного просветления. – И Крейстос будет главой ее!

Он поднял руки, словно распятый, откинул назад голову, устремив взгляд в голубые небеса, где изредка пролетали стаи птиц, и заговорил с самим собой:

– Я не хочу знать всех этих римлян, с их епископом Калликстом во главе, предсказывающих, подобно мне, торжество Крейстоса в империи без императора!

И он удалился, приветствуя Глиция. В это время вошла Севера и скромно склонила колени перед Магло.

– Я могу благословить тебя, сестра, – сказал старик, – но не твоего супруга, поклонника ложных богов, противящегося Крейстосу.

Он возложил на нее руки и затем исчез, а Глиция жестоко кашляя, бросил раздраженный взгляд на Северу, которая, подойдя к нему, мягко взяла его под локоть.

– Я отлично знаю, что ты никогда не будешь слушать служителей Крейстоса, что ты не откроешь своих глаз перед истиной, – тихо произнесла она, – но все равно, ты мой супруг, и я обязана помогать тебе и любить тебя.

В этом «любить» слышалась затаенная горечь, как бы сожаление, что само это слово произнесено, и Глиция, все еще кашляя и отстраняя руку Северы, сказал:

– Помогать и любить! Да, твоего Магло, Калликста, Заля и Геэля! Римский закон дает мне право распоряжаться твоей жизнью и смертью, но я освободил тебя, я позволил тебе

ходить на их собрания, даже принимать этих людей в моем доме. Ты не думаешь о своем супруге, потому что он стар и не желает этой империи, деяниям которой ты рукоплещешь вместе с Залем и Геэлем. Но мне нравится, нравится, что этот Магло предсказывает гибель Элагабала и императоров. Он прав, твой Магло, если только я верно его понял.

И, оставив ее, он ушел по залитой солнцем тропинке в сопровождении Руски, но не смог утерпеть, чтобы не крикнуть ей издали, перемешав, по обыкновению, все в своей слабой памяти:

– Да, он прав, твой Магло! Погибнет Элагабал вместе с этим Геэлем и Залем и их богом, и ты раскаешься, что оказывала им услуги!

Севера вошла в дом и прошла через ряд комнат, в которых висели неброские картины. В одной из комнат старая служанка складывала куски тканей: едва просохшие тоги, заштопанные субукулы, кучу всякого тряпья, которое Севера чинила для бедных христиан. Супруга Глиция отдавала свое имущество на нужды братьев во Крейстосе, а их было много, – тех, кто касался губами щедрой патрицианской чаши. Десять лет назад исповедник из Вифинии окрестил Северу, и с тех пор она посвятила себя Крейстосу, отдав своего ворчливого супруга на попечение Руски, забыла виллу и перестала наблюдать зорким оком хозяйки за этим домом, славой римлянина. И потому теперь он имел жалкий вид, особенно на фоне роскошных соседних вилл, владельцы которых при-

писывали необычайные страсти этой матроне, еще молодой и привлекательной, несмотря на ее кажущуюся строгость. Но никто не знал величия и вместе с тем простоты души Северы, прекрасной тем светом, которым она все озаряла; и не все знали, что она, любящая и пылкая, каждый день отрывала что-нибудь от себя и что через несколько лет такой жизни бедность может наступить для нее и ее супруга.

Она стала женой этого беспокойного Глиция, потому что так хотела ее семья, также патрицианского происхождения, удаленная уже целый век императорами от службы. При ее замужестве – десять лет тому назад, – ей было пятнадцать. Глиция едва коснулся ее юности. По природе склонная к таинственному, она стала рьяной противницей тела, и эта телесная жизнь заснула в радостях веры, в милосердии, самоотречении, в добрых чувствах к братьям, в пролитых слезах и нежном общении душ, целомудренных, холодных и как бы бесполох.

С тех пор как Заль привлек ее к идее вселенской веры, мощно воздвигающейся над гнойной мерзостью Элагабала, образовалась значительная партия мистиков, в особенности восточных, которые, как и он, поддерживали Элагабала, не преследовавшего христиан, допускавшего их собрания и их негодование против богов; а культ Черного Камня, основанный императором, покончит с многочисленными религиями политеизма и с философиями, более или менее пантеистическими, и будет поддерживать последователей Крейстоса на-

равне с последователями Черного Камня.

Эти мысли занимали теперь Северу, и она спрашивала себя, почему Магло проклинает империю и императора, благосклонного к христианам? Севера, Заль, Геэль и тысячи бедняков с Авентина, из Транстиберинского предместья и с Эсквилина и богатые с Делийского холма, из Квартала садов и из Кампании видели в гнусностях Черного Камня не разврат, а уничтожение старых верований, гибель старых культов, исчезновение греха, испускающего последнее дыхание в мерзостях Содома и Вавилона. Будущее являлось им за пределами всего этого, светлое и чистое, как хрустальное небо, и новое человечество сияло под властью Крейстоса, язвы которого на руках и ногах истекали кровью, источающей благоденствие и мир, вечную любовь и братство, возросшие пышными цветами в святилище Его церквей, распутившихся, как белые незапятнанные лилии.

Все это вихрем проносилось в уме Северы, перед которой восставал облик Заля, каким он являлся в христианских собраниях, в особенности в последнем, когда он пришел с бледным пораненным лицом. Она думала об его душевной тоске в момент, когда он пошел в лагерь вместе с Магло, не разделяя его идей, но и не желая оставить его на поругание солдат; и о своем поспешном посещении его на Эсквилине в бедном христианском жилище, в тот незабвенный день, когда она сделалась бы добычей жрецов, если бы не защитил ее Атиллий. Она встречала Заля и после этого, всегда пылкого,

всегда таинственного, с царственным видом в расцвете своих тридцати лет: в ряду его предков один был из царей Персии, прославленный царь, когда-то заставивший трепетать Землю; и эта кровь сделала его великодушным, таинственным, сильным духом, смелым и мыслящим.

Она зашивала одежды для бедных, а перед глазами ее среди наплыва мыслей возникал лик Крейстоса, затем вспоминался Заль. В ее воображении образы сменялись быстро, живые и яркие. Она молчала, а служанка нараспев считала перед ней тихим голосом одежды: шерстяные коричневые тоги, туники без рукавов, кожаные ремни, столы и паллы, полотняные субукулы и лицерны с капюшонами. Но здесь к ее счету присоединились долетевшие издали слова Глиция, возвращавшегося вместе с Руской; кашляя, он повторял без конца:

– Да, мне нравится, мне нравится, Руска, что этот христианин предсказал гибель Элагабала. Она погибнет, поверь мне, эта империя Северы, погибнет вместе с богом и со своим Геэлем и Залем.

V

Атта, точно в горячке, бродил вокруг терм Антонина и Каракаллы, оживленных смехом, толкотней и восклицаниями толпы. Лысые люди с черными амулетами на шее входили в залы и выходили оттуда в сопровождении молодых банщи-

ков, как правило, красивых, на которых они указывали друг другу пальцем. Атта, потерявший поддержку в лице Амона, который исчез месяцев шесть тому назад, не ел уже два дня и искал глазами кого-нибудь, от кого могла бы быть польза. Вдруг близ него разразились страшные крики, и он увидел, что перед портиками начали собираться люди.

Он направился к все более разрастающейся толпе. Возле него группы людей осыпали постыдными названиями лысых индивидуумов и молодых людей, уходивших с ними, обвиняя их в потворстве Элагабалу, который приказывал выискивать в термах Рима самых красивых мужчин. Атта приблизился к толпе; до него долетел звук сильного голоса; в солнечном свете чья-то рука размахивала посохом над головами. Голос предавал императора анафеме, посох угрожал любопытным.

«Это, конечно, Магло», – подумал Атта, пробираясь к нему.

– Люди! Граждане! Я предсказываю вам! Стопы зверя ходят в смерти, а слава Крейстоса победит навеки грех, – восклицал Магло.

Атта взял его за руку, и Магло сказал:

– Не правда ли, брат Атта, зверь погружается в смерть?

Он умолк, опираясь на посох и глядя своими красными глазами на Атту. Он стоял неподвижно, толпа стала расходиться в поисках новых зрелищ. Наконец, Магло и Атта остались одни.

Гельвет положил руку на плечо своего брата во Крейстосе:

– Это есть пророчество, и я сомневаюсь, чтобы подобное вдохновение могло быть послано епископу Калликсту и его римлянам!

– Я тоже сомневаюсь, – сказал Атта, не зная в точности, в чем дело.

Они ушли от терм. Перед ними потянулись многолюдные улицы Капенского квартала, который окаймляла Латинская дорога слева от Авентина. Они прошли мимо многочисленных водохранилищ, придающих приятную свежесть в этой части города, пересекли Сад Прометея с серебристым спокойным прудом, не глядя на храмы, в особенности на пышные храмы Бури и Сераписа. Они бродили без цели: Магло, чтобы говорить о своем предсказании, Атта, чтобы заглушить голод.

На Палатине, под портиками, стоя на тумбах, несколько человек с непокрытыми головами читали рукописи перед редкой публикой, которая их слушала, постукивая сандалиями о мостовую.

– Они читают мерзости, – сказал Магло и, подняв посох, направился к ним. Но Атта, узнав острую бородку и бритую губу Зописка, которого он давно не видел, удержал старца.

– Да, ты прав. Это Зописк, он написал кощунства о Крейстосе. Но что нам до того? Крейстос победит их всех. Оставим их.

И он увлек его, втайне желая либо соблазнить Магло на

вкусный обед, что было в этот час весьма сомнительно, либо сопровождать его до дома какого-нибудь богатого христианина, где их наверняка оставили бы ужинать. Словно угадав его мысли, Магло спросил:

– Ел ли ты? Пил ли ты? Подкрепился ли ты, как подобает верующим для того, чтобы противостоять искушениям гнусного тела?

– Увы, нет! – ответил, вздыхая, Атта. – И уже со вчерашнего дня я ожидаю этого подкрепления.

– А я только что был у Северы, которая накормила меня. Я поучал ее супруга, которого зовут, кажется, Глосиа.

– Нет, Глициа, – поправил Атта и прибавил: – Я сказал тебе, что я ничего не ел.

– Значит, это не было угодно Крейстосу, – произнес Магло.

И, возвращаясь к своему пророчеству, добавил:

– Видишь ли, этот Глосиа, или Глициа, был очень рад моему предсказанию. И странно, что Севера поддерживает Элагабала Антонина, а Глосиа, или Глициа, – как тебе угодно, – жаждет его смерти. Они не сходятся во взглядах, этот Глосиа или Глициа, и Севера.

– А! Глициа радовался твоему предсказанию! – воскликнул Атта со странным выражением.

Он погрузился в молчание, обдумывая необычный план, давно уже созревавший в нем. Ах, если б он мог привести этот замысел в исполнение! Настал бы тогда конец голодным

дням и оскорблениям богачей, у которых он попрошайничал, настал бы конец скитаниям по грязным улицам и всем унижениям паразита, каким он был только потому, что не имел ни имущества, ни положения, хотя и был ученым – грамматиком, философом и писателем, сведущим в апологетике; и никто этого не отрицал, несмотря даже на его гнусную нищенскую жизнь. Настал бы конец лихорадочным поискам насущной пищи и жилья и не нужно было бы избегать встречи с Залем в собраниях христиан, где он стал бы господствовать над всеми! Несмотря на свои действия, Атта, этот человек будущего, был все же христианином, но со спекулятивной и расчетливой уступчивостью во взглядах, готовый уступить букву ради духа и очень близкий к ереси. Чувствуя, что вера в его веке нуждается в смелых толкователях и руководителях совести, он сам мог бы стать таким руководителем и толкователем, лишь бы события благоприятствовали этому. Не может ли он когда-нибудь достигнуть престола Петра, великая и таинственная власть которого царит над тысячами покорных христиан, богатых и бедных, взаимно поддерживающих друг друга? И это завидное положение прекратило бы наконец вечную заботу о насущной пище и жилье, введя его в мир обильных приношений, поклонений и подчинения. Что же надо сделать для этого? Оказать церкви такую услугу, за которую она в благодарность создаст ему авторитет перед верующими; словом, надо послужить заговору Маммеи, – которая уже имела свою партию, – против Элага-

бала. О, есть христиане и среди них этот гнусный Заль, во-
ображающие, будто культ Черного Камня безбоязненно бу-
дет развиваться наравне с христианством и оспаривать у него
мирское и духовное владычество. Нет, этого не будет! Он,
Атта, докажет, что все это лишь внушение зверя и греха, яв-
ляющихся под разными формами, даже самыми соблазни-
тельными, которые Церковь должна рассеять.

И так как его упоение этой мыслью изливалось в потоке
слов, среди которых прозвучали и такие, как зверь и грех, то
Магло, все еще погруженный в свое пророчество, нагнул-
ся к нему и крикнул на ухо, пересиливая шум толпы:

– Да, да, ты прав! Стопы зверя ходят в смерти, и Крейстос
победит грех! Я предсказал это Глосиа или Глициа!

– Да, Глосиа, или Глициа, – бессознательно повторил Ат-
та, мысли которого текли своим чередом.

И, желая придать практическую оболочку своей мечте, он
подумал, что Глициа, муж Северы, патриций, что вместе с
ним и другие патриции ждут, чтобы империя стряхнула с се-
бя Элагабала, как пыль с тоги, что вслед за этими патриция-
ми к услугам Маммеи будет весь народ, если только Маммея
этого захочет.

Они шли теперь вдоль стен Дворца цезарей, зелень са-
дов закрывала отдаленные белые колоннады; из закруглен-
ных окон торчали головы преторианцев в шлемах, которые
меланхолически смотрели на залитый солнцем город, рас-
кинувшийся перед ними. Изредка, с легким звоном меди,

открывались низкие ворота; входили и выходили таинственные люди, за которыми следили другие из-за углов соседних улиц. Атта узнал в них переодетых сенаторов и военачальников, по всей вероятности, единомышленников Маммеи.

Какое значение может иметь для него неудача? Злополучная жизнь тяготит его; он готов рискнуть ею на этот раз, несмотря на свойственную ему ужасную трусость. И, оставив Магло, который продолжал свой путь, не понимая, зачем Атта хочет проникнуть во дворец, он храбро вошел в ворота, наполовину прикрыв голову углом своей тоги.

Его остановил привратник:

— Куда ты идешь?

Атта пробормотал наугад фантастический пароль, которого не понял старик, почти глухой. Но он подал знак другому, гулявшему с видом скучающего номенклатора, а тот, в свою очередь, сделал жест рукой третьему, за которым оказался и четвертый в глубине тщательно ухоженных садов со множеством статуй и бассейнов.

Они пропустили Атту, несколько удивленные длинной фигурой плохо выбритого паразита в дырявой тоге, не развиденной около дворца в дни приемов; предполагая, что этот человек имеет сказать что-нибудь важное, обыскав его и не найдя при нем оружия, они впустили его в залу, соединявшуюся коридором с атрием. Затем перед Аттой открылись другие залы, другие атриум, приводившие в восторг брунדיзийцев год тому назад, а теперь безмолвные в своем пустынь-

ном величии. Он не был ослеплен ими, высокий и гордый, как будто обитал во дворце со дня рождения; с надеждой на успех он повторял про себя те слова, которые скажет перед Маммеей в случае, если она его примет.

Атта был уже в гинекее, о чем догадался по чистым и звонким звукам женских голосов, долетавших до него издалека. Он по-прежнему шел через огромные залы, портики, перистили, атрии, мимо статуй и ваз на подставках, ковров на стенах с гигантскими рисунками и облицовки из эмалированных плит с мифологическими картинами. Высокий и толстый раб взял его за руку и повел сначала вниз, потом вверх по тихим ступеням и затем через лабиринт темных комнат, где он наверняка заблудился бы один. Раб спросил его:

– Не ради ли ее величества и ее светлости, матери цезаря пришел ты сюда?

Он щурил глаза и сжимал зубы, как бы готовый, в случае ответа «нет», – задушить его или зарезать кинжалом, заткнутым за пояс. Но Атта твердо ответил:

– Да, раб! Ради ее величества и ее светлости пришел я сюда! Я должен поведать ей тайну.

Тогда раб, не говоря более ни слова, повел его быстрее и, впустив в узкую комнату, запер одного. Атта увидел трон с золотыми ручками в виде крыльев сфинкса, спина которого образовывала сиденье со скульптурными символическими изображениями.

VI

Послышался звук скользящих шагов, открылась дверь, и вся в белом, с широкой перевязью из самоцветов на черных волосах, собранных в завитки, появилась Маммеа.

Она села, положив руки на крылья сфинкса; открытый взгляд ее глаз, взгляд дикой самки, остановился на Атте, строгость движений делала ее страшной. Он припал к земле и поцеловал носки ее сандалий, вышитых золотом и фиолетовыми аметистами. В противоположность Сэмиас, которую он часто видел на улице, мать цезаря не была ни нарумянена, ни вызывающе одета; но, высокая и простая, она казалась более опасной, в особенности благодаря этому упорному взгляду, полному мыслей.

— Ты хотел говорить со мной тайно. Кто ты? Что ты делаешь? Говори, я тебя слушаю, — медленно сказала она. Голос ее был спокоен и мужествен, одной рукой она отодвинула позади себя завесу, за которой в тени стоял неподвижно раб, гигант, державший обеими руками рукоять кинжала со сверкающим, как хрусталь, лезвием.

— Да, я имею сообщить тебе важные вещи, — сказал Атта, приподнимаясь. — Кто я? Я христианин. Что я делаю? Я охраняю тебя. Я пришел предложить тебе помощь христиан, чтобы спасти твоего сына и избавить тебя от Элагабала.

Ему нечего было терять, и он решил, что лучшая хит-

рость – это не прибегать ни к какой хитрости. Маммеа примет его услугу или откажет без долгих разговоров – и все таким образом кончится скорее. И голод, мучивший его, вливал в его жилы какую-то лихорадку, побуждал его не жалеть ни о чем, лишь бы все побыстрее кончилось, а если такова его судьба, – то хоть под кинжалом раба. Голод придавал ему своего рода превосходство, основанное на вдохновении, почти гениальность. И, так как Маммеа, не разжимая губ, молча смотрела на него с некоторым недоверием, он проговорил, возвысив голос:

– Да, нас тысячи – народ, рабы, патриции, и мы жаждем конца этой запятнанной империи, в которой твой сын является святой жертвой! Тысячи нас жаждут воцарения добродетели и добра там, где ныне царят зло и коварство. Мир страдает, о, величественная, от насилий сына твоей сестры и жаждет того, кому предсказано быть Августом и императором. Помнишь ли ты тот день, когда во храме Александра Македонского появилось на свет твое дитя? Великая звезда сияла тогда над Кесарией и ореол света окружил солнце; старая женщина принесла тебе пурпурное яйцо, снесенное голубем; кормилицу звали Олимпией, а ее мужа – Филиппом. Тот, над чьей головой витают подобные предсказания, есть избранник судьбы. Помощь, которую я предлагаю тебе, имеет силу рычага. Знай, что, если мы шепнем на ухо мужчинам и женщинам несколько таинственных слов, мы сможем привлечь к тебе и твоему сыну поток сочувствия, неотразимый

в Риме и в провинциях, и тайно поколебать все то, чем Элагабал задумал бы еще поразить и обольстить. Нам легко побудить к восстанию наших в день зрелищ или в лагере во время празднеств и обессилить сопротивление нечистого, который желает смерти твоему сыну. Знай же, что я доверил тебе очень большую тайну, а прошу от тебя только мира для христиан, безопасности для моих братьев и доверия к рабу, который осмеливается с тобой говорить!

Атта остановился и сложил руки, и так как Маммеа молчала, снова заговорил. Теперь он рассказывал о том, что Крейстос присоединит свою Церковь к империи; о том, что грядущие века увидят в Риме не императора, а священника, в белой одежде на золотом троне, имеющего больший почет, чем все великие жрецы; народы придут целовать его сандалии и освятить себя кровью Агнца. Не жажда почестей привела его, Атту, к ней, ибо он предвидит в будущем только царство и закон Крейстоса, — но он устал, а вместе с ним и весь мир, от мерзостей Антонина Авита. И теперь просто необходимо объединить добродетель ее имени с добродетелью христиан, чтобы низвергнуть чудовищную империю, которой природа противится всеми силами. Тогда очищенный от скверны мир увидит, кому себя посвятить: императору ли с его богами и жрецами, или же Крейстосу, победителю душ!

Она не совсем понимала его, чуждая всей этой мистики, хотя советники ее сына, Ульпиан и Сабин, Венулей и Модестин, сильно расширившие заговор, разъяснили ей учение

Крейстоса. Ее тронуло только напоминание о предсказаниях, суливших Алексиану империю. И она видела перед собой отрока, снявшего с себя претексту, уже не юношу Алексиана, а мужа Александра: под копытами его коня содрогается земля, с вооруженными ордами он гонит перса и преследует германца, восходит на Капитолий в колеснице, запряженной слонами, украшает своим присутствием игры в Цирке перед сотысячной толпой зрителей, господствует над сенаторами, превознесенный в апофеозе императора и Августа; а она, Маммеа, тайно управляет миром – не как нервная Сэмиас, а с мудростью матроны, охраняющей свой очаг! Сердце ее забилося, и лицо оживилось.

– Я принимаю твою помощь. Не забывай прекрасного Алексиана, уже ставшего и именуемого ныне Александром. Воздвигай своими руками будущую империю. Вместе с тобой тысячи добродетельных и сильных, которых не могут увлечь мерзости Черного Камня. И мать отрока будет тебе рукоплескать!

Она встала и величественно улыбнулась ему. Атта припал лицом к земле, но она сказала:

– Встань. Я не забуду тебя.

Он остался один. Уже раб отодвинул занавес, чтобы увести его, как вдруг снова появилась Маммеа. Обратив внимание на худобу Атты и его плохую одежду, она решила, что ему нужна помощь, и вернулась с золотыми монетами, но он поспешно ответил:

– Я пришел не для этого! Нет, нет!

Он отказался от золота, хотя так нуждался в нем, – оно поддержало бы его в течение нескольких месяцев до решительного поворота событий. Но Маммеа, забыв свою бесстрастность, взяла его за руку и опустила монеты в одну из складок его черной туники.

– Приди снова, когда власть Элагабала пошатнется, когда начнется крушение его империи. Твой Крейстос и мой Александр ждут того часа, когда они будут единственными властителями мира.

VII

Множество людей бежало к портикам Ливии, где широко раскинулся пышный, многолиственный виноградник, ползущий до гигантских крыш, которые вместе с четырьмя башнями Хорагия и тяжелой массой Колоссея возвышались над оживленным районом Изиды и Сераписа с его десятью гор-реями, или общественными амбарами, с двадцатью тремя пистринами, или булочными, с кварталами Близкого Счастья, Малой улицы, Строителей и Шерсти. Туда вела улица Табернолии, между Целием и Эсквилином. В этом районе находились также термы и бассейны: Нимфей с большой купальней Клавдия, термы Тита и Траяна, украшенные храмом Эскулапа; затем Галльская школа и лагерь мизенских солдат, построенный двухъярусным амфитеатром, вершина

Сабуры, небольшие храмы Доброй Надежды, Сераписа, Минервы, Изиды, затерявшиеся среди громадных домов из мрамора и гранита.

Там можно было встретить молодых патрициев, которые ходили на цыпочках, изгибая торс, с тщательно причесанными или завитыми волосами, облитых благовонным маслом. Так как это происходило в ноябрьские иды, как раз на следующий день после большого праздника в Капитолии, где Элагабал появился, к изумлению римлян, в колеснице, запряженной оленями, то эти молодые патриции, как бы опасаясь воображаемого холода, обвязали себе горло шерстяными повязками и обернули ноги полосами ткани. Одни из них были в пэнулах, застегнутых на груди серебряными пряжками, и мохнатых капюшонах разных цветов; другие – в тогах, искусно задрапированных поверх туник с вышитыми рукавами; третьи не опоясывали вовсе своих длинных полосатых одежд; иные были в алых башмаках, украшенных драгоценными камнями, с острыми носками.

Некоторых встречали редкими рукоплесканиями; их бритые лица имели суровый вид; в глазах отражалось беспокойство, в худых руках они держали свертки листов тонкой кожи, накатанных на палку с деревянным, роговым или костяным шариком, висевшим на конце.

Другие, тоже с суровым видом, бритыми лицами и тревожными глазами, но без свертков в руках, довольствовались тем, что молчаливо проходили под взглядами молодых

патрициев, которые не приветствовали их рукоплесканиями.

Были и такие, которые не имели ни сурового вида, ни бритых лиц, ни тревожных глаз; толкаясь, шевеля плечами, с потухшими взглядами и сложенными сердечком губами, с осторожной походкой и речью они восторженно восклицали, в особенности слушая тех, которые не имели ничего в руках; некоторые из изречений, казалось, заставляли их терять сознание от удовольствия.

Постепенно портики заполнились толпой настолько, что прохожим приходилось сворачивать с дороги. Кое-кто старался устроиться поудобнее, и на поставленных в ряд скамьях появились люди со свитками кожи, на которых грустно висели шарик.

Они возвышались над остальными, которые, задрав вверх носы, встряхивали плечами, поднимали на голове остроконечные капюшоны или закутывали шею тогами, и спины этих людей представляли собой колеблющееся море белых тканей, на большом протяжении вливавшееся в портики Ливии.

Наконец, раздался угрожающий, ироничный, холодный голос одного из суровых, бритых и тревожных людей. Расположившиеся в первом ряду слушатели смотрели на обладателей свитков с видом педагогов, готовых сдержать стих в границах морали, добродетели и традиций, сафического, асклепиадийского, гликонийского, алькайского, архилокического и ямбического метра, укутать стих наподобие носителей ка-

пюшонов и шейных повязок, оледенить его, как и они сами оледенели, и влить в оду, эпод, дифирамб, сатиру, элегию ровно столько теплоты, сколько нужно лишь для поддержания жизни.

Те, кто поместился на скамьях, точно стилеты, со свертками в худых руках, были поэты, а другие, с видом педагогов, – критики; те же, которые замирали, слушая их, были поклонниками критиков и слушателями поэтов; были еще сторонники одновременно и поэтов и критиков, но все внимательно прислушивались к чтению произведений первых и к мудрым, уравновешенным, сдержанным, прозорливым, тонким, умным – главным образом, умным – речам последних.

Итак, голос сурового, бритого и тревожного человека, которому никто не рукоплескал, произнес:

– Начни читать степенно, Оффелл, чтобы мы слушали тебя, мы, люди со вкусом, любимые богами.

Голос другого сурового, бритого и тревожного человека долетел издалека:

– Высморкайся прежде всего и сплюнь хорошенько, Сцева, чтобы твой голос был чист и мог удачно передать оттенки твоих стихов!

Другой очень громкий голос проговорил среди возникшей паузы:

– Не раскачивайся, держи левую руку на сердце, склони скромно голову, не имей гордости и, в особенности, будь добродетелен, Коран! Мы согласны тебя слушать!

Возмущенный голос крикнул:

– Зачем ты носишь острую бородку без усов, Зописк? Зачем выделяться? Посмотри на нас, мы обриты, хотя и суровы, и тревожны, как того требует наша добродетель. Ты достоин порицания! Борода без усов отталкивает Музу, которая так охотно льнет к бритым лицам.

Тогда несколько слушателей поэтов и поклонников критиков заявили:

– Кальвизий прав. Мы не можем дольше терпеть острую бородку без усов у Зописка, поэма которого отвратительна, если так о нем судить. Уйди! Уйди, поэт, не способный обрить свою бороду, подобно прочим!

Но молодые патриции ответили слушателям:

– Что вам за дело до того, что Зописк носит острую бородку без усов? Ему так нравится! Муза тут ни при чем, и мы думаем, что лучше быть хорошим поэтом с бородой и без усов, чем плохим, но бритым!

– Кощунство! Кощунство! – воскликнул тот, которого поклонники критиков называли Кальвизием. – Муза поругана, Аполлон отвергнут, Пегас упал набок, поэзия умерла благодаря бороде безусого Зописка!

Тогда поднялись оживленные споры. Один хотел, чтобы Зописк пошел обриться немедленно, другие, чтобы он остался, в то время как поэты и сам Зописк терпеливо ждали конца бури, стоя на своих скамьях, в одной руке с достоинством сжимая свиток, другую прижав к сердцу, устремив взгляд на

фризы портика и выпрямив все тело.

Наступило спокойствие: Зописк остался. Один из критиков крикнул:

– Мы слушаем вас, поэты!

И внезапно все поэты начали читать одновременно!

Это были гимны Юпитеру и Вакху, оды любовницам или частным лицам. Оффелл жалобно читал элегию о красотах Тибуры; Сцева быстро скандировал эпод о дружбе; Коран вовевал с поэмой о мореплавании. А Зописк уткнул нос в свою поэму о Венере, и никто не понимал, что он читает, хотя он и держался с видом поэта, самого гениального.

Слушатели открыли рты и поднимали носы; затем, повернувшись боком, они пытались уловить стихи, которые путались, порхали, вертелись, катились, сыпались с уст поэтов светлыми каскадами правильных безукоризненных метров. Они сменяли страницы своих свитков. Некоторые нетерпеливые уходили; ряды редели; но критики не двигались с мест, свирепо решив выслушать все до конца, чтобы внушить поэтам принципы своего здорового вкуса, по их мнению, всеобщего вкуса!

Так как некоторые слушатели жаловались на неясность чтения, то поэты снова перечитывали свои стихи с необычайным журчанием речи, похожим на шум воды. И, постепенно оживляясь, они делали жесты, качали головами и принимали вдохновенные позы; в их глазах выражалось теперь не беспокойство, а энтузиазм и вдохновение. Но чтение все

же не становилось от этого более понятным, тем более что они читали теперь все вместе. Слушатели разошлись, оставив их наедине с критиками.

Зато стали приближаться любопытные, среди которых какой-то всадник в панцире и шлеме, не стесняясь подъехал верхом. Поэты читали, а любопытные смотрели на них, сперва со вниманием, затем с удивлением, наконец с величайшим негодованием. Поэты, продолжая чтение, уткнувши носы в свитки или воздевая руки в порыве вдохновения, видели одних лишь критиков, от которых они ожидали одобрительных замечаний вроде *bene, euge, pulchre, belle*; однако эти слова не вырывались из уст обладавших таким вкусом; венки также не посылались поэтам. Критики сжимали губы, опираясь на руки своими задумчивыми подбородками и бросая свирепые взгляды на поэтов, из которых некоторые внезапно вздрагивали.

Это длилось около часа, и вот уже чтение стало подходить к концу. Всадник с неслыханным трудом сдерживал коня, бросавшегося из стороны в сторону, оттесняя людей вокруг. Наконец, возвысив голос, он оборвал чтецов:

– Клянусь божественностью Антонина! Как это вы, поэты, не написали ничего в честь империи?

Это была правда. Насколько можно было разобрать, произведения поэтов совсем не касались императора. Они воспевали все: богов и богинь, блудниц и матрон, преступления и добродетель, лук из римских садов, египетскую чечевицу,

коз, пастухов, Цезаря Юлия, корабли, живопись, скульптуру, ветер, источники, море, город, игры в Цирке и игры в кости – все, кроме Элагабала и его божественности. И это возмутило всадника, который вынул меч из ножен, висевших у его бедра, покрытого медью. Поэты подняли глаза; критики зашевелились. Кто-то закричал. И вскоре поэты бежали со своих скамей, а критики удалились с суровым видом. Исчезли тоги и туники, бритые лица и тревожные глаза; точно это был необычайный отлет белых птиц, сидевших над мутным прудом.

– А ты? Что ты тут делаешь? – вкладывая меч в ножны, крикнул всадник Зописку, который продолжал читать.

И так как тот не обращал на него внимания, то он грубо схватил его за острую бородку. Зописк взвыл:

– Пощады! Пощады! Я читал, я победил бы всех поэтов, которые не умеют писать стихи, как я!

Однако он быстро узнал во всаднике одного из офицеров, виденных им у Саларийских ворот: то был Антиохан.

– Эта поэма, о, достославный, была посвящена тебе. Я отлично помню тебя. Я воспевал твои добродетели, твою храбрость и твои услуги общественному делу. Хочешь я тебе прочту?

Но Антиохан дернул еще сильнее его бороду и сжал ее, как мокрую тряпку.

– Ты мне посвятил это? Ложь! И кроме того, ты должен был написать в честь божественности Антонина!

Зописк сделал движение отчаяния.

– Да! Да! Я посвятил поэму его божественности; я оговорился. Но и ты также заслуживал этого посвящения. Пусти меня, достославный. Чтобы немедленно удовлетворить тебя, я превознесу Антонина выше всех богов.

– Он и так выше всех богов, – крикнул Антиохан, постепенно успокоившись. – А если ты хочешь воспевать императора, то пойдем со мной.

И он увел его, продолжая держать за острую бороду, сам сидя на коне, который ускорил шаг, принуждая поэта бежать, с расстроенным лицом, но все еще с драгоценным свитком в руке. Прохожие оборачивались, многие смеялись, а школьники издевались над ним.

– Куда ты ведешь меня, о достославный? – простонал Зописк.

– К императору, он бросит тебя зверям, если твоя поэма плоха.

Они приблизились к Целийскому холму, где дома сияли блеском белого и красного гранита и мрамора. Любопытные шли следом, узнав поэта, они предположили, что император велел привести его ради какой-нибудь невероятной жестокости. Вскоре сквозь сеть улиц показались сады Старой Надежды, а вдали, за деревьями, уже различались фризы белого дворца, украшенного золотом.

Громадная дверь позади портика отворилась. Антиохан отпустил совсем растерявшегося Зописка, а несколько пре-

торианцев выбежало из небольшого здания, скрытого растеньями, высокими, как дома.

VIII

Антиохан слез с коня и, передав его одному из преторианцев, сказал Зописку, награждая его ударом кулака в спину: — Иди, иди! Император будет доволен, увидев тебя.

Аллея гигантских деревьев окаймляла этот казавшийся бесконечным двор, обнесенный каменными стенами, заросшими сверху дикой травой; сквозь просветы рыжеватых листьев падали яркие лучи жгучего солнца; вдали виднелась зеркальная поверхность садков с длинноногими фламинго, которые стояли, поджав под себя одну ногу. Парки чередовали спокойную зелень лужаек с темно-зелеными сосновыми рощами и светлыми сирийскими кактусами, а тростник покачивал своими косматыми верхушками. Там были бассейны, удивительным образом укрепленные на одной колонне, извергавшей из щелей чистую прозрачную воду в каменные водоемы, на поверхности которых плавали крупные ненью-фары; в других бассейнах чудовищные каменные лягушки с раздутым зобом разбрасывали веером брызги воды; гроты светились кристаллами застывшей смолы; там и тут высились небольшие храмы из голубых и розовых изразцов, с острыми крышами и колоннами, напоминающими издали складки белой одежды, мраморные и бронзовые статуи на-

гих людей в позах преследования и насилия.

То и дело пересекали дорогу бесшумно скользящие жрецы Солнца, и Зописк часто с любопытством оглядывался на них, за что выслушивал грубую брань от своего спутника, заставлявшего поэта не обращать на них внимания. Вдруг до них донеслась тихая музыка флейт и тимпанов. В колеблющейся дали, среди зелени, в блеске яркого солнечного света показалось странное шествие: двенадцать голых женщин везли колесницу, на которой стоял Элагабал, нагой; другие обнаженные женщины плясали вокруг колесницы, а еще одни играли на музыкальных инструментах; за шествием следовала стража императора, пышные хризаспиды, ударявшие в золотые щиты золотыми палицами.

– Ты увидишь, как проедет божественный, – сказал Антиохан.

И он увлек поэта ближе к процессии, которая проследовала перед ними в ослепительном блеске золота и нагих тел. Элагабал, весело смеясь, бросил на них с колесницы быстрый взгляд.

– И главное, читай внятно твою поэму, – сказал Антиохан, когда они остались одни. – Божественный – хороший судья, и тебя бросят зверям, если твои стихи плохи.

Сад, суживаясь, переходил в лабиринт тропинок со статуями, павильонами и алтарями, увенчанными черным каменным конусом с надписями. Потом показалась площадка, посыпанная песком, залитая золотыми лучами солнца, и

весь, окруженный зеленью, дворец: два этажа портиков, колоннада с ведущими к ней красными ступенями, белые террасы с белыми же балюстрадами и округленные сверху окна в стенах с пилястрами, на узорчатом архитраве которых был изображен фаллос. Этот дворец отличался от обыкновенных построек куполом на плоской крыше и бельведерами у портиков. В отверстия в стенах дворца причудливо проникали, спускаясь до пола, ветви деревьев; ряды колонн примыкали к аркам, за которыми скрывались двери. Пронзительные и дикие крики зверей раздавались в глубине: крики львов, леопардов, тигров, носорога и гиппопотама, который барахтался в обширном бассейне.

На площадке прогуливались восемь лысых; молча и с достоинством они взирали друг на друга, придерживая одной рукой тоги.

– Подожди здесь, – приказал Антиохан Зописку.

– Я исполнил поручение. Божественный велел мне привести к нему поэта: я привел тебя. Если твоя поэма хороша, Антиохан наградит тебя, в противном случае бросит тебя зверям. Не вздумай уйти отсюда, или я прикажу преторианцам убить тебя.

Зописк остался на месте, нервно сжимая в руке свою рукопись. Мимо него прошел человек, совершенно косой; немного спустя, в конце красной под лучами солнца песчаной площадки показался другой, тоже косой – и так, один за другим, вскоре собралось восемь косых людей. Скривив головы, они

не спускали глаз со входа во дворец и важно прохаживались, не обращая внимания друг на друга.

Затем появилось восемь подагриков, они медленно тащились, опираясь на палки, за ними шли восемь черных, одетых в великолепные красные одежды, а далее – восемь невероятных худых и восемь очень толстых.

Наконец, некто с чрезвычайно важным видом подошел к Зописку и спросил поэта, не опоздал ли он... Зописк ответил что-то и по реакции вопрошающего понял, что перед ним глухой.

Действительно то был глухой; к нему присоединились вскоре еще семь глухих и, не понимая друг друга, они завели громкий разговор, к которому издали прислушивались лысые, не теряя при этом своего достоинства.

По временам рычали звери, тишину дворца нарушало также бряцанье оружия и стук передвигаемой мебели; в глубине садов, среди зелени, вспыхивали золотые блики, звуки флейт и тимпанов росли и потом замирали; появлялись изящные обнаженные женщины, их груди были приподняты, волосы свободно падали на спину – они катили золотую колесницу, на которой величественно стоял, задевая головой за листья деревьев, Элагабал.

Иногда быстро и испуганно проносились гигантские олени, и их легкий топот таял в тишине сада; за ними бешено гнались люди в ярко-красных одеждах, бросавшие палки и камни, и настигали их на берегу голубоватых озер, где те,

вздрагивая, останавливались пить.

Несмотря на музыку, шум и крики, полное умиротворение царило в этих садах, совсем не похожих на сады во Дворце цезарей. Здесь Элагабал давал свободу своим порокам, утонченно культивировал их, как странные причудливые цветы, и только о них и думал, забывая об империи.

Толпа мужчин высыпала из простиля дворца, и Зописк узнал в них банщиков, которых Элагабал призвал к себе из терм несколько месяцев тому назад. Вероятно, они все это время жили во дворце Старой Надежды, потому что в городе их больше не видели. Он думал, что император, насладившись ими, лишил их жизни, но оказалось наоборот, они были здоровы и веселы, сыты и сильны, как юноши наслаждения.

Зописк любил поболтать, поэтому обратился с вопросом к одному из восьми подагриков, медленно двигавшемуся, подобно большой улитке.

– Гражданин! Что мы стоим здесь перед дворцом божественного? Я думаю, что если нас позвали, то мы можем туда войти.

Подагрик согласился, а с ним и семь других подагриков, и все – чернокожие, глухие, лысые, худые, полные и косые беспорядочной толпой стали подниматься по ступеням простиля. Но тут отворилась дверь, блеснули золотые пики преторианцев и оттеснили их. Более всего кричали худые: древки копий с глухим звуком больно ударяли их по костям.

– Если нам нельзя войти, – сказал расхрабrivшийся Зописк, – то погуляем пока.

И они стали прохаживаться по площадке; черепа лысых блестели на солнце, а косые отвратительно поглядывали друг на друга, и морщины собирались в уголках их глаз.

В эту минуту звуки музыки стали расти, и император пронесся перед ними среди голых женщин; а так как они недостаточно быстро склонялись пред божественным, то хризаспиды наделяли их ударами золотых палиц по затылку, после чего они падали ниц в безграничном обожании.

Но видение быстро исчезает! Во дворце раздаются звуки труб, они сливаются с ревом голодных зверей, ожидающих жертв... Наконец, номенклаторы в желтых митрах и в красных хламидах призывают Зописка, глухих, подагриков, черных, лысых, косых, худых и толстых, и все спешат на зов. Перед ними открывается обширный вестибюль. Его стены были расписаны самым причудливым образом: колоннами с тянущимися по ним в диковинных изгибах растениями; пляшущими кораблями, мачты которых увенчаны вилами, а от вилл во все стороны раскинулись ветви с висящими на них мужчинами и женщинами, фигуры которых оканчиваются пальмовым листом или рыбьим хвостом; обнаженными женщинами, похищаемыми чудовищами с когтистыми лапами; сиренами и дельфинами, прыгающими в волнах среди стройных водорослей, оканчивающихся красными фаллосами; нагими героинями мифов с раскрытыми недрами плоти.

Все творения являли собой противоестественный разгул похоти и сладострастия. А у стен, в окружении рослых преторианцев, стоят гигантские канделябры, помещенные на спины мраморных человеческих фигур, и эти канделябры, в виде пауков с длинными лапами, тянутся к сводам, украшенным розами, совершенно увядшими, будто готовыми вот-вот оборваться и упасть.

Номенклатор ведет их в светлый и просторный атриум; там из бассейна крокодил выставил пасть и смотрит на испуганную толпу приглашенных. Они идут дальше, через таблинум, в комнаты с поднятыми длинными занавесями у входа, убранные роскошными пурпурными сиденьями в виде сигмы, бронзовыми и золотыми тронами, шафрановыми ложами, кафедрами из слоновой кости, четырехугольными и круглыми столами с ножками в виде звериных лап, украшенными цветами и выпуклыми фигурами с головами быков или царей с заплетенными волосами.

Звуки инструментов раздаются совсем близко. В глубине одной из комнат, в желтом свете золота тканей и стен, они видят, как Элагабал, нагой, пляшет, играя на флейте, и, двигая бедрами, кружится в вихре танца, а юноши наслаждений, также нагие, стоят вокруг, опустив руки к чреслам. Среди приглашенных раздается голос:

– Элагабал хочет нас осквернить!

Поднимается жалобный вопль, особенно громко вопят подагрики и глухие. Но номенклатор указывает им на тем-

ную комнату, которую они нерешительно проходят. Наконец, он открывает другое помещение, светлое, с полукруглой сигмой, окружающей одну сторону стола, уставленного яствами.

– Божественный предлагает вам утолить голод и жажду, но тех, кто не найдет себе места на ложе, он бросит зверям.

Все кинулись к столу, даже Зописк, но номенклатор удержал его за руку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.